

Николай Лесков

# Чающие движения воды



**Николай Семёнович Лесков**  
**Чающие движения воды**

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=174801](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174801)*

# Содержание

Часть первая	5
Книга первая	5
I. Свечи, горящие под спудом	5
II. Патриарх, прошедший с мечом и с миром	10
III. Место селения	18
IV. Старогородский робинзон	23
V. Природа, для которой заперли двери, ищет для себя окон	35
VI. Два зайца смотрят один на другого	44
VII. Из одного старого плаща делается несколько новых курток	48
VIII. Робинзон начинает приводить диких в удивление	50
IX. Беда видит и бредит	61
X. Напасть проснулась и встала	69
XI. Старое старится, а молодое растет	79
XII. Лекарь Пуговкин	84
XIII. История с громобоем	91
XIV. С рабом обвенчалась	103
XV. И матерью сделалась детям раба	105
XVI. Suum cuique	121
XVII. Начало болезням	127

XVIII. Савельева синяя книга	137
XIX. Другая половина савельевой книги	161
XX. Пушка гремит сама по себе, а мортира сама по себе	187
XXI. Далекие сосны своему бору шумят	213

# Николай Лесков

## Чающие движения воды

### *Романическая хроника*

*В тех слезаши множество болящих,  
слепых, хромых, сухих, чающих движения воды.*

*Иоанн. гл. 5*

## Часть первая

### Книга первая

### Книга родства и памяти

## I. Свечи, горящие под спудом

События, заносимые в эту хронику, составляют эпизод из жизни людей одного очень старого города, который стал на русской земле еще во дни оны и до сих пор пережил уже много веков; помнит много владык и видел много поколений..

Старый Город построен не по прихоти завоевателя и не по указной грамоте стольного князя; его поставили здесь люди,

излюбившие это место и избравшие себе его в место селения. Определить с точностью время возникновения Старого Города трудно. Ни история, ни предания ничего не рассказывают, когда он построен; но с некоторою достоверностью можно полагать, что Старый Город возник на русской земле еще во времена почти доисторические. Это можно предполагать, во-первых, потому, что о Старом Городе упоминается на самых ранних страницах обоих списков летописи св. Нестора; а во-вторых потому, что в «достоверном сказании», которое хранится у подножия стоящей в старогородском соборном храме иконы святого Николая, повествуется, что икона эта явилась здесь во времена «поганства». Сказание свидетельствует, что упомянутая икона была обретаена в те времена каким-то потаенным христианином на берегу омывающей Старый Город реки Турицы, по волнам которой она якобы и приплыла на большом кресте из плотного серого камня. Несмотря, однако, на такую древность Старого Города, наша история не дарит ему почти ни одной страницы и вспоминает о нем только вскользь и изредка. О древних судьбах его гораздо более интересных сведений сообщает упомянутое «достоверное сказание». Из него явствует, что пращурь нынешних обитателей Старого Города, коснея в язычестве, или, как выражается сказание, в «поганстве», не только не поверили чудесному явлению иконы, но даже и не захотели пустить ее внутрь стен, а, напротив, неистово устремились столкнуть ее снова в реку. Это старогородским пра-

щурам, однако, не удалось. В сказании повествуется, что, с одной стороны, чудодейственная сила иконы поразила язычников временною слепотою и воспрепятствовала видеть им святителей образ; а с другой, в то же время к окопам города подошли вои великокняжеские «и обложиша град и начаше деяние свое». Старый Город сопротивлялся; он стал за своими земляными валами противу воев великокняжеских и отбивался «сопротивно нехотяше принять честного изображения святителя». Но «Богу благоизволившему совершити иная, стяги княжецкие усмирили мятеж и внидоша во град со славословием Господа истинного и его превеликого угодника, утвердили пречестную и благолепную икону святителю на городе и поставили ту иереи».

Нынче эта резная горельеф-икона, богато украшенная золотом и камнями, составляет великоуважаемую святыню Старого Города, и святой Николай Мирликийский почитается его вековечным покровителем.

По народным преданиям, дополняющим вышеупомянутое сказание, икона эта имеет всякие права на то почтение, которым она пользуется. И народный голос, и «достоверное сказание» свидетельствуют, что икона эта являла тьмочисленные заступления Старому Городу во время неурожаев, поветрий, вражеских облежаний и особенно во время тяжелого ига татарского. «Столь великие заступления угодника божия – говорит сказание – прославили град сей во всех градах земли русской, и начаша собираться в он люди от разных

стран; овии для поклонения, овии же и на вечные времена зде поселяхуся и начаху соиздати град нарочито велик и всяким благолепием обилен».

Церковно-христианский элемент, вошедши однажды в жизнь Старого Города, принимает самое первостепенное значение во все великие моменты его позднейших исторических судеб.

В позднейшие времена, праправнуки пращуров, мятежно сражавшихся с «воями великокняжескими», которые принесли им почитаемую ныне икону, еще раз становились за своими валами против сильного войска царского, приходившего внушать им тождество книг «никонова исправления» с порченными книгами древлепечатными. Правнуки были побиты войсками царскими еще больше, чем прадеды их были побиты стягами великокняжескими; но в горькой судьбе побежденных они явили нечто иное, не отличавшее их языческих предков, коим победители поставили иереев. Новые послушники, выбитые царским воеводою из-за своих тынов и окопов, не поступились ни одною йотою своих верований. Принужденные победителями заклепывать пред строем царского войска свои пушки, самопалы и пищали, старогородцы в великом унижении побежденных заклепали в своих душах всякую щель, в которую могли бы проскользнуть хотя малейший страх власти антихристовой или слабейший звук увещаний, раздававшихся с патриаршего престола. Правда, что Старый Город был разбит на голову и с тех пор никогда



уже не поднимал вооруженной руки и не выставлял защищенной броней груди; но зато он весь остался в «вере отцов своих» и, как выражается о нем одно известнейшее в старообрядчестве сочинение, – «страданиями своими и ранами кровоточивыми долгое время сиял, яко камень некий многоценный в венце церкви древней апостольской, от никониан мучимой».

Много позднее местная хроника отмечает еще одно знаменательное событие в жизни Старого Города.

Старый Город платил свои подати, тянул свою тягу. Во всех внешних формах и требованиях он беспрекословно повиновался поставленным в нем властям; но не радел новым порядкам и не сживался с ними. Сознав свое бессилие в открытой борьбе, он обратился к политике. Величая и золотя своих воевод и правителей, Старый Город откупался от их участия в правлении и гораздо менее управлялся этими воеводами, чем старшинами да наставниками, полугласно избравшимися из излюбленных людей города. Эти излюбленные люди ведали общественные дела, и при тогдашней системе подкупов охранили мир и все интересы общего благоустройства и веры. Об одном из таких лиц и упоминает городская хроника, как о первом живом человеке, выделившемся из общественной среды и внесшем своею рукою и мир, и меч в социальную жизнь старогородцев.

## II. Патриарх, прошедший с мечом и с миром

В последние годы царствования государыни Екатерины Второй, удержавшей своею рукою свирепствовавшие до тех пор гонения на старую веру, обществом Старого Города был избран в старшины и наставники богатый купец Мина Силыч Кочетов. Это был человек таких христианских добродетелей и совершенств, которому и подобного никого не было с тех пор, как стал на земле Старый Город. Такого мнения о Кочетове был поголовно весь Старый Город, и, в силу этого единодушного почтения к Кочетову, еще ни один человек в Старом Городе не пользовался таким уважением, доверием и влиянием, какое имел в нем «батюшка Мина Силыч». Без совета Мины Силыча не заводился первый венец в срубке дома; без него не нарекался христианским именем новый пришлец в жизнь, и он же своею рукою сыпал прощальную горсть земли на гроб отошедшего брата. Везде и на всякое время, и на всякий час потребен был миру батюшка Мина Силыч, и по всяк час чтил и помнил за то его мир и честил его всякою честью. Говорил ли Мина Силыч – все безмолвствовали, поучал ли он – все плакали; проходил ли просто по улице или площади – всяк, стар и млад, глядел вслед Мине Силычу с обнаженною головою, и тихий благоговейный шепот повторял о нем, что он «яко ковчег, позлащенный духом,

несется, отец наш, над волнами моря житейского, и все мы им одним и спасемся, яко ковчегом, от потопа греховного и вечныя смерти».

Этот духом позлащенный ковчег, однако, не без бурь и опасностей совершал свое плавание по морю житейскому. Встречал он не раз лицом к лицу темные валы, до самого дна раскрывавшие свои широкие пасти; слышал зловещий треск от удара подводного камня и умел обходить беды и напасти; но, однако, с тою бедою, которая шла на его голову, – не справился. Нежданно-негаданно, после долгого затишья, дохнула на древнее благочестие новая невзгода и унесла Мину Силыча далеко-далече от дел, от семьи, от всего, что ему было мило и дорого.

Много пострадал Мина Силыч, влачась силою гонящей его бури с мытарства на мытарство; немало покормил он острожную нечисть своею, постом и молитвою изнеможденною, старческой плотью; бывал на увещаниях синода, говорил свои речи митрополитам и архимандритам, и существует предание, что был даже представлен самому императору Павлу Петровичу. Кочетов нигде не находил прощения своему упрямству, но весьма нередко снискивал себе своим характером глубокие симпатии даже в самых своих судьях и обвинителях. Однако, тем не менее, все эти симпатии не облегчили участи преступного старика. По характеру тогдашних отношений правительства к старообрядству невозможно было и рассчитывать ни на какое снисхождение, особенно

для человека, пользовавшегося между своими единоверцами такою известностью, какую пользовался Кочетов. Непреклонного Мину Силыча сослали в Бобруйск и заключили там в крепость.

С безропотным христианским смирением низошел старик со света в темный каземат, и этот каменный гроб, куда схоронили от жизни Кочетова, с первого же дня его заточения дохнул на небо хвалою и песнью бессмертного духа. Стоя на коленях на черных плитах своей подземной темницы. Мина Силыч запел своим старческим голосом из-под земли: «На камени мя веры утвердил еси, расширив уста моя на враги моя и возвесели бо ся дух мой». И песнь его далеко разнеслась людьми, слышавшими ее из окна темницы и повторявшими ее, как песнь оскорбленного ангела.

Между тем, пока узник укреплял дух свой размышлениями и вдохновенными песнями, на русском престоле воцарился император Александр Павлович. Не прошло года с этого воцарения, как перед Миною Силычем разверзлись тяжелые двери его темницы. Нежданный и негаданный явился он домой, убеленный сединами и украшенный ореолом страдания. Старый Город зарыдал от радости и со слезами восторга запел Богу благодарственные молебны. Долгое изгнание Мины Силыча не воспитало ни одного честолюбца, который пожелал бы оспаривать первенство у возвращенного узника, и Мина Силыч опять стал во главе общины и опять начал править мирской корабль.

Шли годы. Русь сразилась с Наполеоном; смятенный народ с часу на час ждал разрушения мира и вдруг услышал о победе и изгнании врага из пределов отчизны. Победитель, увенчанный благословениями Европы, собирался в Москву, где по этому случаю ожидали патриотических торжеств, долженствовавших ознаменовать свидание царя с отстоявшим себя народом. Славой Александра и любовью к нему исполнилась вся земля русская: раб и свободь и всяческая не уступали друг другу в теплейшем сочувствии руководителю совершившихся судеб. Старик Кочетов, принимая все это к своему чуткому сердцу, ходил задумчив. Он внимательно прислушивался ко всяким толкам, все что-то соображал и наконец, помолясь Богу, собрал в молельню стариков, положил перед ними древний «начал» христианский и сказал:

– Имею я, православные, на мысли съездить в Москву.

– Значит, есть на то божие произволение, батюшка Мина Силыч, – отвечали ему в один голос православные.

– Хочу бо, братия мои возлюбленные, помолиться у святых мощей святителей божиих Алексея, Ионы и Филиппа за моего освободителя и за освободителей веры нашей и всея державы российской.

– Услышь Господь твою молитву праведную! – отвечали собранные старцы.

– Может быть, и радость какую привезу оттуда, – продолжал, уповательно глядя на небо, Мина Силыч.

– Сердце царево в руке божией! – так же уповательно от-

вечали ему старцы.

– А вы, православные, помолитесь источнику света и смысла подателю.

– Поклонимся, отец наш, и припадем царице и Богу нашему.

Затем Мина Силыч поклонился до земли старикам; старики поклонились до земли Мине Силычу; все во Христе братски облобызались и разошлись. Мина Силыч уехал. Прошел месяц, другой, наступил и третий, а от Мины Силыча не приходило никакого известия, и вдруг в половине третьего месяца получено от него послание. «Весть некую, дивную, имам поведать вам, отцы, братия и чадца. – писал Мина Силыч. – Отжените от себя дух суемудрия и гордыни, всячески припадайте к Светодавцу, бдите и молитесь да не внидем в напасть; секира болежит при корени, и всяко древо, не приносящее плода доброго, посекается и в огонь вметается. Огнен глагол и слово нельстивое принесу вам; но к сему не блазнитесь и не стужайтесь духом; но испытайте разумом и егда приидет час, с рассуждением всяким примите».

Ничего не могли себе растолковать деда Старого Города, получив это послание батюшки Мины Силыча, и по его наказу только усерднее припадали и молились.

Приехал наконец и сам Мина Силыч. Он приехал важный, строгий, с лицом серьезным и озабоченным. Приняв хлеб-соль на крыльце своего дома, он никого не позвал к себе и сам ни к кому не зашел, а попросил всех собраться завтра

утром в молельню.

– Призовем сил небесных воеводу и стратига и там побеседуем, – произнес он, словно ополчаясь на брань и призывая на свой стяг благословение небесного воеводы.

Утром в молельне пели большой молебен. Мина Силыч вошел в рабском азыме с лестовкой и стал сзади всех в уголочек.

– Отцы, братия и чадца! – начал он, приложившись после молебна к налойному образу, – ведомо ли из писания вам, что разделышееся о себе царство – погибнет?

– Ведомо, – пронеслось в ответ в народе.

– Ведомо же, уповаю, и сие, что «уне есть единому человеку погибнути за люди, да не приидет им соблазн в мир?»

– И сие ведомо.

Мина Силыч поклонился и продолжал другим тоном:

– Теперь, мню, небезызвестно всем вам, что, по своей чрезмерной милости, неисповедимый Господь избрал меня на некий краткий час сосудом терпения и сподобил пострадать за святую веру отеческую?

– Знаем, батюшка наш Мина Силыч, помним, родитель дорогой, помним, – волною прокатилось по всей молельне.

– Поведаю же вам ныне, – заговорил, вздохнув из глубины груди, патриарх, – что был я в первопрестольном граде Москве. Совершил я путь сей сколько своим хотением, столько же и произволением божиим; видел пресветлые очи царские; обласкан был его словом милостивым и собеседо-

вал с святителем коломенским.

По молельне пронесся неровный шепот.

– И того ради, – продолжал, не обращая на это внимания, Кочетов, – послал я вам послание мое рабское о глаголе огненном, его же прииде час возвестити вам. Отцы, братия мои и чадца! – Мина Силыч осенил себя большим крестом и сложил на груди накрест свои руки и опустил передо всем народом на колени. – По вере моей глубокой и по моему истинному обращению приобщен я тела и крови Господней из рук иерея божия во святом храме русском, древнем, и всякую рознь с общею матерью нашею церковью русскою отвергаю и порицаю.

Произнеся этот «огнен глагол», Мина Силыч поклонился до земли и не поднял своей белой головы от полу. Народ стоял, как стадо овец, испуганное внезапно блеснувшею молнией. Никто не ответил Кочетову ни одним словом, и в глубочайшем молчании вся смущенная семья старогородская, человек по человеку, разошлась по домам своим. Последний поднялся с полу Мина Силыч, поклонился у порога сторожу, произнося «прости, будь милостив», и побрел ко двору своему, глубоко тронутый, но спокойный.

Результатом этого «глагола» было первое разъединение в Старом Городе, не знавшем до сих пор общественного разлада. Дух *новшества*, дух прогресса ударил Старый Город в те же самые религиозные интересы, которым обыкновенно наносили удары вои княжецкие и полки царские; но нынеш-



нее новшество смутило Город паче всего доселе бывшего.

– Враг внюду нас есть, – шепнули дрогнувшие в страхе суеверные сердца и увидали отсюда начала болезням.

На Мину Силыча ополчился целый собор; и после долгих бесед и прений стариков с Миной Силычем «царство разделилось». Авторитет Кочетова оказался так велик, доводы его так убедительны, что добрая половина Старого Города немедленно же пошла во след своего старого наставника. Таким образом воочию всех в Старом Городе совершилось то, чего столетие назад сильные воеводы не могли добиться ни пытками, ни пищалями, ни кнутами. Совершилось все это мирно, просто, по манию одного человека, души которого касалась искра Божия и свет разума.

Но не все, как сказано, ушли вслед за восторженным Миной Силычем, и другая половина города, под рукою вновь избранного ею себе наставника, Семена Дмитриевича Деева, осталась в прежней вере.

От этого дня в Старом Городе стали два согласия, две веры, два рассуждения, два во взаимной друг к другу вражде выраставшие поколения.

Такова, в своих главных чертах, история цивилизации Старого Города, с которою коренные его обитатели должны были встречать все явления позднейшей эпохи и относиться к ним по мере своего разума.

### III. Место селения

Уготовившие место селения истлели и рассыпались прахом; но камни вопиют о них и поныне. Как бы вы ни были развлечены, с каким бы равнодушным невниманием вы ни приближались к Старому Городу, его вопиющие камни непременно сумеют заставить вас почувствовать, что у них есть история, и хоть на минуту перенесут вас ко временам этой истории. Все эти конические колокольни, узкие улицы, типические русской постройки дома, остатки стен и валов держат над городом исторический флаг, который говорит вам, что все видимое вами возникло здесь не по указу губернского правления и выводилось не по бесхарактерным планам новейшей архитектуры. Но Старый Город по самой строгой справедливости должно назвать городом не только характерным, но и весьма красивым. Характерные памятники его исторической старины расставлены среди одного из живописнейших местоположений, прелестью которых, как известно, не очень богата наша отчизна. В ряду ровных и однообразных местностей срединной России, местность, занятую Старым Городом, по справедливости следует считать очень веселой и привлекательной. Правда, здесь нет ни могучей Волги, ни сердитого Днепра с их широкими, размашистыми картинами; картина Старого Города маленькая, пожалуй, даже вовсе не картина, а пейзажик, но пейзажик до

бесконечности живой и веселый. Оба берега глубокой, судоходной речки, по берегам которой, как сказочный городок в табакерке, раскинут Старый Город, очень круты. Правый из них обрывист, а левый, покрытый зеленою травой, покат. На правом, обрывистом берегу, как раз над самой рекою, возвышается очень старый собор с упомянутою историческою явленною иконой. Если стоять на противоположном пологом берегу, то от собора вниз по течению реки видны необыкновенно высокие, острые фронтоны красных деревянных крыш на каменных домиках и совершенно конусообразные купола старинных желтых колоколен. Еще далее чуть видны над землею одни острые верхушки кровель да высокие дымовые трубы с огромными колпаками из синей горшечной глины. В конце этой, постоянно скрадывающейся и исчезающей на горизонте черты, снова вдруг выступает на берегу тяжелое, очень старинное здание, окруженное каменной стеной, из-за которой тяжело поднимается вверх желтая колокольня, завершенная белым кирпичным куполом с проделанными в нем крошечными продолговатыми окошечками. Это мужской монастырь, которым заканчивается правая сторона Старого Города.

Весь обрыв правого берега реки состоит из толстых пластов красно-бурой глины, местами прорезанной слоями рыхлого, ноздреватого плитняка. Слабый камень этот беспрестанно щелушится и осыпается, покрывая мелким мусором проложенную под обрывом узенькую проездную дорожку. С

этого берега, только в одном месте, пробит не совсем безопасный спуск, идущий спирально к наводному плашкотному мосту. Кроме этого спуска, вниз от забора по зигзагам и выступам обрыва еще вьется узенькая тропиночка, которою ходят с горы к роднику, что бьет из-под каменного креста, приплывшего сюда, по преданию, вместе с явленной иконой. Главный, крутой спуск, в позднейшие времена значительно исправленный и шоссированный, называется «Батавиным взвозом», а узенькая тропинка, ведущая к реке от собора, – «Крестовою тропею». Происхождение названия тропы было весьма ясно: тропу прозвали крестовою потому, что ею главным образом ходили за водою «ко кресту»; но отчего главный взвоз назывался «Батавиным» – достоверно неизвестно. Одни говорят, что был какой-то инженер Батавин, трудившийся над исправлением этого спуска и давший ему свое имя; а другие думают, что такого инженера не было, а что был разбойник Батавин, который проезжал по этому спуску с своею отчаянною ватагой; но которое из этих двух сведений вероятнее, в Старом Городе никто не может объяснить и поныне.

Общий вид этой стороны напоминал волшебный городок Гвидона в иллюстрированной сказке Пушкина про царя Салтана.

Ландшафт, открываемый левою стороною, гораздо свежее и еще живописнее. По менее крутому склону левого берега, зарастающему летом бархатной травкой, а зимою покры-

ваемому белым, сверкающим снегом, идет ряд чистеньких, невысоких деревянных домов с новыми низкими кровлями и нередко с цветными стеклами в оконных рамах. Прямоугольная линия до кокетливости опрятных деревянных домиков занимает самый гребень холма. Ниже по скату раскинуты дощатые хибарки рыбаков, и в ряд с ними тянутся длинные землянки, в которых помещаются собирающиеся по веснам бурлацкие ватаги. Еще ниже всего этого, уже почти у самой воды, на небольшом бугорочке стоит нештукатуренная каменная часовня, в которой, при отплытии караванов, служат чудотворцу напутственные молебны.

Сажень в полутора сажа вверх от плашкотного моста, против самой крестовой тропы, левый берег пересекается глубокою котловиною, по дну которой очень быстро бежит прозрачный и довольно глубокий ручей «Гремяк». Гремяк вытекает всего верст за шесть от города из чистого подгорного источника, называвшегося Гремучим Колодцем. Шибко несется этот чистый ручей по глубокому удолю, оживляя его своим веселым рокотом, и впадает под прямым углом в речку.

Удолье, по которому катился веселый Гремяк, по имени ручья называлось «Гремучим Верхом», или «Громяковым Беремищем». Последнее название встречалось, впрочем, только в актовых книгах города и изредка слышалось из уст особых почитателей местной старины. Современный люд обыкновенно называет это удолье «Гремучим Верхом», или

еще короче «Гремяком», или, наконец, просто «Заречьем». Место соединения Гремучего ручья с рекой Турицей было необыкновенно красиво и могло выдержать самые беспристрастные сравнения с лучшим из уголков, известнейших своею живописностью.

От самого впадения Гремяка, на целую версту или на две вверх по направлению к его истоку, идут густые, страшно разросшиеся сады. В темной зелени этих садов совсем тонут небольшие беленькие домики, прилепленные, как гнезда стрижей, один выше другого по обоим склонам верха. Летом, когда деревья одеты цветом и зеленой листвою, домики эти так ревниво скрыты этой богатой растительностью, что редкий из них выглядывает на улицу одним или двумя окошечками из-под своих, то красных тесовых, то темно-бурых соломенных кровель. По тот и другой бок Гремякова Верха было всего только по одной улочке. Обе эти улицы были немощеные, но, благодаря супесковатому грунту, постоянно отличались своею чистотою от грязных улиц «Ботавиной Стороны», где немощеная красная глина при малейшем дожде открывала топь невылазную. Обе стороны Гремучего Верха сообщались между собою множеством узеньких тропинок, из которых противу каждой были переброшены с одной стороны на другую утлые лавы, сколоченные на живую руку из пары досок и снабженные перилами из одной тонкой слежки, привязанной кое-как к колу или к надбережной раките.

Река Турица, отделяющая Ботавинскую Сторону от Заречья, судоходна только вниз от моста. Вверх же от моста она глубока лишь местами, имеет большие песчаные отмели и в одном месте образует значительной величины остров, подходящий под самый мост. Остров этот очень долгое время был пуст и заброшен: на нем рос лишь высокий бурьян и глухая крапива; но лет двадцать тому назад на нем разведена большая огородная бакша, составляющая нынче временную собственность одного очень оригинального человека, ставшего вне старогородских религиозных партий и избравшего себе путь – им же не всякий способен идти.

## IV. Старогородский робинзон

С тех пор, как смерть смежила вежди и восторженные уста батюшки Мины Силыча, в Старом Городе не было человека, который пользовался бы такую популярностью, какую пользуется там в это время очень скромный человек, обработавший бесплодную почву ныне плодоносного городского острова. Человек этот происходил от колена самых яростнейших врагов Кочетова, от колена купца Деева; но не род и не порода, а жизнь этого человека и его история дали ему его настоящую известность.

Купец Семен Дмитриевич Деев был только виновником зол для этого человека. Это небольшая история, которая требует небольшого шага в сторону. Сделавшись главою людей,

не пошедших во след Кочетова, старый Деев построил себе большой деревянный дом «на отлете», в самом конце города. Нынче никто не живет в этом доме, и он стоит одинокий, сумрачный и неприветливый, не принимая никакого участия в жизни. Таков же, впрочем, был этот серый двухэтажный дом с двумя ярусами маленьких окошек и в те дни, когда в нем еще обитали живые люди и в окна его светили мерцающие огоньки неугасимых лампадок. Дом этот не хотел иметь сообщения ни с кем и немилосердно карал тех из своих обитателей, у кого по какому-нибудь случаю замечалось хоть малейшее желание сблизиться с остальным миром. В целом городе никто не имел никакого понятия о том, как живет в доме Семена Деева. На улице старогорожане встречали только самого Деева, но встречали его всегда капризного, угрюмого, ко гневу склонного и мстительного. Если же встречался где-нибудь кто бы то ни было из других жильцов этого дома, то все смотрели на него с чувством некоторого ужаса и удивления, как на выходца с того света. О женщинах, живших в этом доме, знали еще менее, чем о мужчинах. Они там рождались или приходили туда для сожительства, там же и умирали. Ворота деевского дома затворялись за ними только за мертвыми. Но были из этого и исключения.

Пятьдесят лет тому назад, в одну самую бурную, темнейшую и человеконенавистную ночь, грозный деевский дом вытолкнул в бесприютность молодую девушку, не почтившую его уставов, и захлопнул за нею свою калитку.



Дом словно выплюнул спросонья это дитя и снова захлопнул до другого случая свои сердитые веки.

Вытолкнутая девушка была сирота, племянница Семена Деева, Аксинья Матвеевна. Ей было тогда всего восемнадцать лет; но, несмотря на свое строгое, девичье затворничество, она знала, куда ей нужно идти в эту суровую ночь своего изгнания. Она шла из улицы в улицу, из переулка в переулок, прямо к одному очень маленькому серенькому домику на церковном погосте и здесь робко постучалась в покосившееся окошко. Через несколько минут она постучалась еще смелее, и в ту же минуту навстречу ей выскочил молодой человек в одном белье и в сапожных опорках.

– Ксюша! Косатка! – вскричал он с изумлением, увидя перед собою девушку.

Изгнанница только уныло шепнула:

– Выгнали.

– Выгнали?

– Выгнали, совсем избили и выгнали.

Молодой человек с беспечнейшею радостью широко распахнул калитку и, перехватив к себе девушку, запер задвижкой ворота и внес на руках свою дрожащую гостью в очень небольшую горенку.

Весь этот домик, куда пришла Ксюша, состоял из одной крошечной горенки и еще меньшей приспешной. Он принадлежал церковному пономарю Ионе Пизонскому. Это был человек одинокий, молодой, проводивший беззаботнейшую

жизнь и распевавший с голода самые веселые песни, которые полонили для него сердца старогородских затворниц и добыли ему пылкое сердечко изгнанницы деевского дома. Сцена, которую мы видели, была сцена, резюмировавшая их тайную любовь в тот момент, когда силою природы вещей любовь эта перестала быть тайною для деевского дома.

Выгнанная сирота, скромная, как агнец, забытый пастырями в лесу, полном всякого хищного зверя, было существо самое любящее. Она, как большинство смирных женщин, пошла на все за своим любимцем: она приняла его веру, его имя и звание – сделалась его женой, а через пять месяцев родила ему сына Константина.

– Оступилась и не доносила, – острил на свой счет по этому случаю пономарь Пизонский; а через год сам оступился, рубя осенью хворост на крутом обрыве над Турицею; полетел вниз головою и один одиноко отдал свою веселую душу единому Богу.

Пономарица осталась с годовым ребенком одна, яко перст.

Ворота деевского дома, в которые постучалась вдова в эту годину несчастья, отворились только для того, чтобы послать ей одно проклятие.

Но сказано не на ветер, на Руси люди с голоду не умирают, если не хотят того сами.

Не имея ни роду, ни племени, ни пристанища, куда приклонить голову, вдова Пизонская приютилась в женском мо-

настыре, в келейные к какой-то монахине. Туда же в женский монастырь внесла она с собою и своего сына, назвав его обманно девочкой Макриной. Хитрость, вызванная отчаянным положением вдовы, удалась ей как нельзя лучше. Благодаря беспрестанному бдению матери, настоящий пол ребенка не был никогда обнаружен никем; но зато и не знало его и само дитя, и само оно тоже считало себя девочкой. Когда же Константин Пизонский под псевдонимом Макрины достиг в монастыре двенадцатилетнего возраста, вдова Пизонская, заботясь о воспитании сына, вывела его вон из обители, передела в овраге из юбки и платья в нанковый халат и отдала в духовное приходское училище под его настоящим именем Константина Пизонского. Но книжная премудрость не далась ребенку. Несчастное дитя прежде всего сделалось всеобщим посмешищем. Скинув с себя свой женский псевдоним, оно, во-первых, никак не могло приучиться считать себя мальчиком и постоянно говорило: «я была, я пришла, я ела», а это дало повод издеваться над ним с первой же минуты. Учиться ребенок был очень способен; но тогдашняя училищная строгость и ядовитые доуки товарищей отняли у него всякую возможность успеха. Запуганность его дошла до невероятных пределов и была причиною окончательного смещения его в неспособные. Однажды, еще вскоре после своего поступления в училище, Пизонский, надписывая свое имя на тетради, вместо Константин написал Кинстинтин. Учитель поймал его на этой ошибке и, ударив по голове

лозою, спросил:

– Как твое имя?

– Константин, – отвечал ребенок.

– Пиши на табуле.

Дитя взяло дрожащею рукою мел и почувствовало, что рука его бежит, бежит, бежит неудержимо и чертит одну за другою бесконечные буквы. Во всю доску тянется Константин-тинтинтинтинтин... и все нет ему конца, нет заключения, нет предела. Ребенок чувствует, что это что-то не то, что это что-то неладно, – он млеет, дрожит и все ведет слог за слогом: «тинтинтинтинтин»...

– Что ты, стрикулист, так больно длинен? – замечает ядовито учитель. – Держись, по крайней мере, остолоп, своей препорции!

Пизонский быстро стер с доски бесконечную цепь слогов и твердою, решительною рукою написал короткое: «Котин».

Приведенный в недоумение этим быстрым сокращением протяженно-сложенного слова, учитель счел это за оскорбительный фарс: он снова резнул Пизонского лозою по уху и снова еще более строгим голосом напоянул ему о соблюдении «препорции».

– Не могу, – решительно отвечал ребенок.

– Чего ж ты не можешь?

– Не могу написать по препорции.

Учитель качнул назад головою, и дитя, зная, что означает сей знак, с невозмутимою покорностью подошло к скамейке,

у которой всегда лежали в ведре, по всяк час готовые, пучки розог.

– Ну, Макрина, укладывайся! – приглашали его очередные секуторы, и совершалась казнь.

И всякий раз повторялись над ним эти шутки и потехи, и всякий день выводил он целый час, при общем смехе, бесконечное *Константинтинтинтин* и потом, доходя до отчаяния, вдруг писал короткое – *Котин* и шел к секуторской скамейке. Всякий день его стегали по незажившим рубцам, и он все-таки не входил в свою препорцию, а всегда или полз с своим именем в бесконечность или отчаянно ставил короткое: «Котин».

Окончилось воспитание Пизонского тем, что товарищи сломали ему носовой хрящ и своротили на сторону нос; а начальство исключило его «за великовозрастием и малоуспешием» из училища и предоставило ему избрать себе дозволенный законом род жизни. Для Пизонского все дозволенные роды жизни были равнозначущи и равноценны, а потому он вовсе не заблагорассудил позаботиться об избрании какого-нибудь одного из них себе в исключительную собственность. Он прежде всего подумал о хлебе и поступил в науку к какому-то энциклопедисту-ремесленнику, меднику, механику, переплетчику, астроному и поэту. Вдвоем с своим чудачком-хозяином они были все и ничего: они переплетали книги, малярничали, лудили кастрюли – и все это делали «ничтоже сумняшеся», и дешево, и скверно. Скучного дневного

заработка им едва доставало на самое нищенское пропитание; но это их нимало не смущало. Сидя зачастую и без работы, и без хлеба, они забывали о голоде, азартно читали какую-нибудь старую астрономию и тыкали пальцами по засаленному небесному атласу. Спускающаяся на землю вечерняя темнь только пригоняла их к окну, из которого они глядели целые ночи на небо и определяли созвездия или читали на память Танкреда и козловского «Чернеца», или же, наконец, усевшись на порожке своей хаты, распевали дуэтом:

О, человек!

Вспомни свой век.

Взгляни ты на гробы,

Они вечны дома.

Неизвестно, докуда бы продолжалось такое сладкое и поэтическое житье нашей Макрины, если бы ее, как человека, не избравшего себе в срок никакого дозволенного законом рода жизни, не отдали «по разряду» в рекруты. Пошел Константин Пизонский на царскую службу. Три года он пробыл писарем и шутом в какой-то батальонной канцелярии и наконец, по ходатайству матери, возвращен для ее прокормления. Но своей старухи Константин Пизонский, возвратясь домой, уже не застал на свете. Он пришел в Старый Город и явился к дяде Маркелу Дееву. Маркел Семенович Деев допустил Пизонского к себе на глаза, выслушал все, что тот говорил ему, а потом позвал всех, кто у него был в семье, и

сказал племяннику:

– А ну-ка, повернись!

– Как, дядюшка? – спросил Пизонский.

– Так, боком повернись.

Тот повернулся.

– Ну, а теперь задом стань.

Пизонский и это исполнил.

– Хорош? – спросил Маркел Семеныч домашних.

Общий хохот, где громкий, где сдержанный, раздался из всех углов в ответ на это восклицание.

На Пизонского, и действительно, трудно было смотреть без смеха: его лысая и вдобавок по-солдатски обточенная голова; его кривой нос, его птичьи – круглые глаза, синие губы и длинный нанковый капот, купленный в том городе, где кончилась его военная карьера, – все это вместе взятое давало самый смешной и странный характер его фигуре.

– Служил куцым бесом три года и выслужил три пуговицы – и то ладно. Ну, и больше же, брат, не хлопочи, не оборачивайся, а как стал теперь лбом к порогу, так и иди вон, откуда пришел, – объявил ему дядя, твердо и решительно изгоняя навсегда из своего правоверного дома сына еретика и еретицы.

Пизонский вышел. С непокрытою от рассеянности головою прошел он по всему городу, удивляя прохожих, которые смеялись над ним злее, чем дети смеялись над лысым пророком. Пизонский, однако, был терпеливей пророка, он ни-

кого не проклял, а только тихо поплакал, севши под раки-той за городской заставой. Он был совершенно бесприютен и сидел на дороге, как ошипанный филин. Но невозможно же было вечно сидеть здесь. Пизонский вспомнил, что у него где-то неподалеку от города была замужем за однодворцем материна племянница, а его двоюродная сестра, по фамилии Набокова, и пошел искать ее. Шел он – близко ли, далеко ли, и пришел на другой вечер в село, где надеялся увидеть свою родственницу и где узнал, что ни ее самой, ни ее мужа в живых нет, а что остались после них две девочки, Глаша лет пяти, да Нилочка – по второму году; но и их, этих сирот, нету в наличности, и их забрала к себе на воспитание слепая нищая, Пустыриха. Вот тебе и весь род, и все племя!

«Пойду, посмотрю, по крайней мере, хоть какие эти девоньки», – подумал все более и более сиротевший Пизонский, и он отыскал Пустыриху и нашел у нее детей.

Встреча его с детьми была перед вечером. Обе девочки, в ветчайших рубищах, сидели на пыльной завалинке: старшая играла, подкидывая ручонками крошечные камешки, а младшая – томилась, лениво глядя глазенками за сестриными руками.

Пизонский выскочил к ним неожиданно, из-за угла хаты, и остановился перед ними, как сказочный гений.

Посмотрев на детей, он сел перед ними на травку и обнял их обеими руками.

– Голубятки! – заговорил он. – Плохо вам тут у бабушки?



Дети пугливо прижались одна к другой; сначала долго друг на друга смотрели и потом обе разом тихо заплакали.

– О, да вы, птенцы, не плачьте; я вот вам гостинца выну. – С этим словом Пизонский опустил в карман руку и, достав оттуда немного смятую печеную луковицу, обдул прилипшие к ней крошки хлеба, разломил ее ногтями пополам и подал сироткам.

Тайный ли голос крови, или заманчивый вкус сладкой печеной луковицы, сразу расположил сироток к Пизонскому. Они сползли с завалины, уселись одна против другой на его коленях и сосали лук, теребя ручонками ясную солдатскую пуговицу, пришитую к воротнику его коленкорового халата.

– Бьет вас, детки, бабушка? – начал прямо Пизонский, поглаживая девочек по головкам.

– Бот, – прошептали разом тихо дети.

– И больно?

– И боно, – проронили они еще тише и робче и, смаргивая слезки, напряженно смотрели с раздирающей детской тоскою на пуговицу.

Пизонский развздыхался. Необъятная любовь и нежность овладели его сердцем. Он сразу решил, что никак не может оставить здесь этих девочек, и, дождавшись возвращения Пустырихи домой, попросился у нее переночевать. Ночью Пизонский все вставал и наведывался к детям, а утром, забывая собственную беспомощность и неприютность, стал умолять старуху, чтобы она отдала ему сироток.

– Я их, бабушка, воспитаю; я выучу их, бабонька, – говорил Пизонский.

Старуха и слушать об этом не хотела. Она выгнала самого Пизонского и захлопнула у него перед носом дверь свою.

«Тягаться с нею судом, – подумал Пизонский, – долго, и денег у меня нет на то, да и пока власти велют ей отдать мне детей, она их непременно ослепит». Но расстаться с детьми и снова идти бог знает куда одному Пизонскому теперь уже показалось невозможно, и он в течение следующей за сим ночи придумал нечто другое. Увидев где-то у одного крестьянского половня лозовую плетушку, в которой носят мякину и ухоботьё, Пизонский утащил ее за сарай, высыпал из нее вон ржаной колос, настлал на дно свежего сена и припрятал у Пустырихи на огороде. Чуть только на другой день выглянуло на небе солнышко и Пустыриха, по заведенному порядку, тронулась с поводаркой в побор, Пизонский схватил оставшихся дома девочек, посадил их в плетушку, подцепил ее своим кушаком за плечи и с длинным костьюлем в руке зашагал своими длинными ногами к городу. Боязнь погони и страх за участь детей, которые, как не оперившиеся птички, спали, свернувшись в плетушке за его плечами, так гнали Пизонского, что он, не отдыхая, отмахал в летний день шестьдесят верст и вечером стал в Старый Город. Здесь ему не было места одному, и сюда он теперь являлся еще с двумя взятыми на свое попечение детьми.

Качаясь за спиною Пизонского, обе путешествующие в

плетушке сиротки спали целый день, но вечерняя прохлада разбудила их, и они начали с холоду ежиться и попискивать. Правда, это уж было зато у пристани. Пизонский в это время уже свернул в сторону в подгородние конопляники. Здесь он взял обеих девочек подмышки, вытряс на землю бывшее на дне плетушки сено, уложил на него детей, сел над ними на корточки, как наседка, и, подобрав их под грудь, в течение всей короткой ночи согревал их животную теплотой собственного тела.

## **V. Природа, для которой заперли двери, ищет для себя окон**

Ранним утром, чуть только вспыхнуло погожее солнышко, Пизонский встал с своего места, накрыл спящих детей плетушкой и, чтобы они, проснувшись, не могли ее с себя сбросить, связал над нею крест-накрест четыре пучка конопли и вышел из своей засады. Оглядевшись на все стороны, он вздохнул, перекрестился и прямо задами побрел к городским огородам. Город еще спал, нежась в подымавшемся с реки дымчатым тумане. Места, которыми теперь шел Пизонский, очевидно, не были ему очень знакомы, потому что он долго осматривал, припоминал малейшие приметы и, только после долгих соображений, открыв глазами большой огород, обнесенный кругом высоким плетнем из лесной орешины, направился прямо к этому огороду и перелез через его пле-

ть. Очутившись затем на самом огороде, Пизонский быстро пробежал, согнувшись, по межам и спрятался в грядках наперенного тычинками гороха. Он присел здесь тихо и только по временам нетерпеливо приподнимался оттуда и кого-то высматривал. Целый час он просидел в горохе, то робко высовывая свою голову выше зелени, то снова быстро падая в межу при малейшем шуме. Ради каких соображений явился сюда Пизонский, только несколько дней тому назад изгнанный из этого дома с неслыханной суровостью и позором, и кого он теперь желал здесь встретить? Этого отгадать было невозможно. Одно только можно было основательно предположить, что Пизонский ждал здесь не Маркела Семеныча.

Пизонский действительно выжидал появления совсем другого лица из семьи Деевых и невыразимо смутился, когда тихо скрипнули ворота заднего двора и на огород вышел высокий кучерявый парень в светлой розовой рубашке. Это был не Маркел Семеныч и не сын его, Марко Маркелыч, но, очевидно, это все-таки был не тот, кого желал встретить Пизонский. Завидя вышедшего молодца, Пизонский снова упал в горох и пригнулся как можно ниже. В это же время только что вошедший молодой человек сделал несколько шагов по узкой дорожке, разделявшей гряды огорода на две равные половины, подперся левой рукой в бок, тихо зевнул и, весело глянув по широкому пространству, занятому росистыми овощами, потянулся и стал, почесывая сапожком одной ноги другую. Пизонский опять было приподнял тихонько голо-

ву из гороха, но зато опять сейчас же и юркнул, испуганный новым скрипом огородной калитки. В этот раз на калитке показалась высокая молодая женщина с свежим румянцем и прямыми соболиными бровями. Она была одета в темной шерстяной юбке, старенькой гарнитуровой душегрейке и покрыта по голове белым бумажным платком с розовыми каемочками.

Завидя эту женщину, Константин Ионыч покраснел от радости до ушей и заметался по меже. Несомненно, что это и было то самое лицо, которое он хотел здесь видеть, и что теперь его занимала одна мысль: как привлечь на себя ее внимание, не обратив на себя в то же время внимания стоящего парня. Но это было невозможно, и Пизонский после первого волнения, продолжавшегося несколько секунд, вздохнув, снова присел на колени и, удерживая дыхание, стал торопливо раздвигать синеватые усы гороха.

Между тем, белолицая красавица, войдя на огород, приподняла одною рукою от росной травы юбку и прямо направилась к гряде с молодым свекольникком. Пизонскому показалось, что, завидя стоящего на дорожке парня, молодая женщина немножко смутилась и зарумянилась. Дойдя спокойной поступью до гряды, она поставила на межу большую расписанную сусальным золотом деревянную чашу и стала проворно срывать и класть в нее молодые свекольные листья. Этим временем парень приблизился к ней тихой, щеголеватой походкой и с веселой улыбкой проговорил:

– Здравствуйте, невестка!

Та, к которой относилось это приветствие, не обратила на него никакого внимания.

Молодой человек снова усмехнулся; он обошел невестку с другой стороны и на этот раз уже гораздо смелее и громче прежнего проговорил:

– Платонида Андревна, здравствуйте!

– Здравствуй и ты, Авенир Маркелыч, – отвечала, не подымаясь от гряды, Платонида Андревна.

Авенир отдал невестке низкий поклон и стал помогать ей рвать в чашку свекольник.

– Ну, а помогать мне я тебя не прошу, – говорила Платонида Андревна и с этим словом выбросила назад из чаши наложенный Авениром пук листьев.

– Отчего так, невестка, не просите? – запытал, распрямляясь во весь рост, молодой деверь.

– Так; не хочу, да и только, чтобы ты тут вертелся. Авенир улыбнулся, опять нарвал другую горсть зелени и опять положил ее в расписную чашку.

– Иди ты, сделай милость, от меня со своей помощью прочь, – вскрикнула красавица и, не выдержав, рассмеялась и бросила в лицо Авениру нарванную им зелень.

Авенир, кажется, только и дожидался этой перемены.

– Ну что же это, невестка, вы за красавица! Вот ей Богу, разрази меня Бог на сем месте, а нету на свете ни одной царицы такой красивой, как вы! – заговорил он, глядя на нее

со сложенными на груди руками.

– Тьфу! – отплюнулась без сердца Платонида Андревна и опять стала рвать белой рукою росный зелено-синий свекольник.

– А отчего это и об чем вы, невестка, вчера с вечера плакали? – начал спрашивать ее Авенир.

– А ты почему это знаешь, что я плакала?

– Да я ж будто не слышал!

– Гм! Где ж это ты, дурак, мог это слышать?

Платонида Андревна улыбнулась и сказала:

– Нет, я вижу, что вправду надо про тебя Марку Маркелычу сказать, чтоб тебя на ночь запирали; чтоб ты под окнами, где тебе не следует, не шатался.

– Ну, у меня про то на случай и потолок в палатке разбирается, – весело отвечал Авенир.

– Дурак ты сам-то разборчивый и больше ничего, – проговорила Платонида Андревна. – Мало тебя, дурака, и без того за меня колотят, так ты видно хочешь, чтоб еще больше тебя брат с отцом колотили; ну и поколотят.

– А пусть их пока, невестка, какое время еще поколотят. Только я чуть ли скоро и сам не начну им сдачи давать.

– Ну да, как же! сдачи! Нет, а ты вот что, Авенир; он вон свекор-то Маркел Семеныч наемни при всех при отцах из моленной сказал, что такую духовную напишет, что все одному Марку Маркелычу отдаст, а тебе, глупому, за твое непочтенье к родителю, шиш с маслом.

– Что ж? вы же, невестка, с мужем богаче будете.

– Ммм!.. Нет, скажи ты, пожалуйста, что ты это в самом деле, Авенир, себе думаешь?!

– А ничего я, невестка, не думаю. Про что мне много думать-то?

– Нет, нравится тебе, что ли, чтоб били тебя, да колотили, да еще нищим сделали? Что ты это забрал себе в голову?

Авенир молчал и стоял сложа руки. Платонида Андревна, сдвинув брови, говорила внушительно:

– Ты б то, непутящий ты парень, взял себе в разум, что я ведь твоего брата жена; невестка тебе называюсь.

– Да я разве этого не помню, что ли? – отозвался нетерпеливо Авенир. – Я все это всегда по всякий час прекрасно помню и ничего такого нехорошего не думаю.

– Нехорошего! Хорошее или нехорошее ты себе думаешь, а только знай ты себе, что я не хочу, чтоб ты за мной слонялся. Слышишь ты это, Авенирка, или нет? Слышишь! не смей и никак не смей ты здесь со мной встречаться... И заступаться за меня тоже не смей и не приставай ко мне... потому что не хочу я этого; не хочу, не хочу и не желаю, да и... коли уж на правду пошло, так знай, что и надоел ты мне, вот – что!

– Ну, это, что... на что пустое говорить, невестка, неправду?

– Как пустое? Как это пустое? С чего это ты взял, что это пустое?

Авенир махнул рукою и, наложив на губы свекольный ли-



сточек, насосал его и равнодушно хлопнул.

Платонида Андревна рассмеялась и, пожав плечами, проговорила:

– Ну, смотрите, пожалуйста, на этого дурака, добрые люди!

– Эх уж, невестка, молчали бы! – отвечал Авенир.

– Что молчать? Отчего мне молчать?

– Что вам молчать? А зачем вы меня тогда целовали-то?

– Когда это? Когда это я тебя, дурака, целовала?

Врешь ты это все, врешь ты это, лгун ты этакой, никогда я тебя не целовала.

– Никогда?

– Никогда.

Платонида Андревна покраснела и, нагнувшись, стала еще скорее дергать свекольные листья совсем с землею.

– А забыли, невестка, как наших в прошлом году дома-то не было?

– Ну?

– А мы с вами тогда на кровати-то боролись... что, помните?

Платонида Андревна приподнялась и, строго смотря в глаза Авениру, спросила:

– Так что ж такое, что боролись?

– Так вот – тут-то вы меня щекотали...

– Ну?

– Ну да, и целовали, и отпираться нечего, что целовали.

– Пфффю, пустяки какие он помнит! – отвечала, закрывая

рукавом лицо, Платонида Андревна. – Может, что и вправду как-нибудь тогда поцаловала, потому что ты еще мальчик – отчего ж мне тебя не поцаловать? Я этак хоть и сто раз тебя, изволь, поцалую.

– Ну, извольте – поцалуйте.

Авенир сделал к невестке шаг и слегка тронул ее за целый кисейный рукав.

– Поди прочь, дурак! – проговорила, отшвырнув девереву руку, Платонида Андревна и, рассмеявшись, бросила ему в лицо горсть мокрого свекольника.

– Важность он какую придумал, – продолжала она, – что я поцаловала! В этом остроге живучи, черта с рогами, и того поцалуешь.

– А вот же и опять, невестка, неправду сказали; вот не очень-то вы брата цалуете.

– Авенир! – крикнула, приподнявшись и стараясь говорить как можно строже, Платонида Андревна. – Что ты, негодный ты парень, очень хочешь, чтоб я тебя изругала? Так я тебя, поганого мальчишку, сейчас вот как нельзя хуже отделаю.

– Да что вы это все меня мальчишка да мальчишка! Полно вам; пора и перестать мальчишкой-то звать меня.

– А потому я тебя так зову, что ты мальчишка.

– Что мне двадцать один год, то и вам ведь столько же. Ничуть моего не больше на свете прожили.

– Я женщина.

– А я мужчина.

– Дурак ты, а не мужчина! Важность какая мужчина! Да и разве такие-то бывают мужчины?

– Да, а то, невестка, какие же?

– Какие?.. А я вот не посмотрю, что ты мужчина, да оплеуху тебе хорошую дам.

– Ну, что ж такое! – отвечал Авенир.

– И ей-Богу дам! И ударю тебя, и изругаю, и как не надо хуже высрамлю, – сказала, возвышая голос и на этот раз непритворно сердясь Платонида Андревна. – Что это в самом деле за наказание! Ничего балбеска этакой не делает; на пильню его калачом не заманишь; торговле не учится; с пристани все норовит, как бы ему домой скорей; да еще теперь, что себе, мерзавец, вообразил? Голова б у другого треснула такое подумать. Иди ты, негодяй, прочь! – крикнула она, размахнувшись на Авенира чашкой.

– Платоннида! – раздался в эту минуту со двора из-за сарая сухой, дребезжащий голос.

При первых звуках этого голоса Авенир запрыгал козлом через гряды и, перескочив через межу в горох, очутился как раз лицом к лицу с притаившимся здесь Пизонским.

Оба они сидели на корточках друг против друга, как сидят рано утром на лесной опушке молодые зайцы, и оба протирали себе руками удивленные глаза.

## VI. Два зайца смотрят один на другого

Между тем Платонида Андревна, глядя с улыбкой на прыгающего Авенира, спокойно отвечала:

– Сейчас!

– Что, не знаешь ли ты, где это Авенир? – продолжал тот же голос уже несколько ближе.

– Нет, Марко Маркелыч, не знаю, – отозвалась на это мужу Платонида Андревна.

В калитке показался похожий на ежа низенький, черный с проседью человек лет сорока пяти с злою физиономиею и сурово выглядывающими исподлобья подозрительными глазами.

– А здесь его нет? – спросил он, остановясь и распявшись руками на калитке.

– Да что же ему здесь, Марко Маркелыч, делать?

– Где ж это он, шальная собака, запропастился?

– Мне будто показалось что-то, что он на пристань рано пошел, – отвечала Платонида Андревна.

– Опять же-таки все это он без времени делает.

– Торопился, видно, что работы много.

– Усерден очень! Ну-к быть ему нынче за это его усердие опять без чаю. Мы с батюшкой идем на прядильню, а ты, если он вернется, чтоб самовара ему другого не смела ставить! Слышишь ты про то или нет?

– Слышу.

– Не давать ему чаю, когда он своего к тому времени не помнит.

– Не дам.

– Такой мой приказ: не давать!

– Да не дам же, не дам, Марко Маркелыч. Неужели ж-таки я вас в этом ослушаюсь? Можете после и Дарью спросить, – отвечала мужу Платонида Андревна.

Калитка хлопнула на блок, и из-за гряды синих бобов в ту же минуту с испугом высунулась кудрявая голова Авенира. Он проворно запрыгал опять козлом через гряды и на бегу тихо показывал Платониде Андревне на гряде гороха.

– Скройся ты с глаз моих, нерачитель ты ненавистный! – проговорила, встречая его и озираясь по сторонам, Платонида Андревна. – Что ты бзыришь-то козлом по огороду? Пошел, тебе говорят, вон!

Но Авенир, не слушая этого приказа, тихо взял невестку за рукав и тихо же с серьезной миной указал ей рукою на гороховую гряду, за которой скрывался доселе Пизонский.

Платонида Андревна только что взглянула по этому направлению, как пронзительно вскрикнула; уронила из рук чашу с свекольником и закрыла руками глаза. В горохе, в нескольких шагах от поставленного для воробьев пугала, стояла длинная, смешная фигура Пизонского, на которой, тоже как и на пугале, висели лохмотья мокрого коленкорového халата, подпоясанного зеленою коноплею.

– Миленькая! Постой, миленькая Платонида Андревна, постойте! – заговорил Пизонский, вылезая из-за своей засады. – Я к тебе, девушка, не с злом пришла.

Платонида Андревна приняла от глаз руки и с немым удивлением рассматривала предстоявшую ей странную фигуру: ей казалось, что это не живой человек, а само гороховое пугало сошло с места, чтобы обличить ее в грехе Иродиады, в сердечной слабости к мужнину брату.

Константин Ионыч, разрушая убеждения Платониды Андревны о его тождестве с гороховым пугалом, первым делом поспешил счесться с нею родством; потом напомнил, как его три дня назад приняли Маркел Семеныч и муж Платониды, Марко Маркелыч, и наконец, поклонившись Платониде Андревне до земли, стал просить ее пособить ему приютить спрятанных им на конопляннике детей.

Известное дело, что никогда и никому женщина не способна оказать более великодушного сочувствия и услуги, как человеку, сделавшемуся случайно поверенным ее сердечной тайны.

Платонида Андревна подтвердила непреложную истину этого мнения: не расспрашивая ничего более у Пизонского, она прямо обратилась с вопросом к Авениру:

– Ну, как же быть? Что же мы, Авенир, сделаем?

Авенир только развел руками.

– Разве вот что, – продолжала Платонида Андревна, – разве ступай ты, Авенирка, от меня к бабушке Роховне; она хоть

и не из церковных, но не строгая; она, может, сжалится – примет.

– И доложу тебе, моя умница, что одежонки на них, на бедных птенчиках, теперь никакой нет ровнехонько; одна-таки еще в рубашечке, а другая меньшиньякая – совсем голенькая. Завернул я ее в свои штанцы, да не очень ладно ей в них, а ее лохматики все свалились, дитя; да, совсем свалились, – рассказывал Пизонский.

– Это ничего, – отвечала Платонида Андревна, – это я сейчас вынесу. Чтоб только Дарья воровка за мною как не подсмотрела! – добавила она, взглянув на Авенира и приложив к губам палец. – Она нонче все за мной, как есть всякий мой шаг замечает.

– А вы, невестка, будто как на пугало что негодное несете: сверните в комочек да и пронесите, – научал Авенир невестку.

– Только я свое разве что – детского у меня ничего нет, потому детей у нас нет в доме – не рожая я, – заговорила, бегучи к калитке, Платонида Андревна.

Минут через пять она громко закричала на дворе «шугу-уу!» и выскочила на огород с туго свернутым комком, из которого мотались и коленкор, и холст, и пола стеганой ватной шубеечки.

Ткнув этот сверточек Пизонскому, она дернула за локоть Авенира и сказала:

– На, забеги оттуда в трактир, там чаю напейся, – и с этим

она сунула ему в руку пятиалтынный.

Авенир ласково отвел невесткину руку, тряхнул кудрями и проговорил:

– Спрячьте, невестка, спрячьте; я и без чаю хорош буду.

С этими словами Авенир не хуже ловкого волтижера перелетел через частокол и побежал вслед за Пизонским, который, обхватив руками данные ему ветошки, уже выбирался широкими шагами на поле.

## **VII. Из одного старого плаща делается несколько новых курток**

Древлепечатная бабушка Февронья Роховна, местная значарка и акушерка, была старуха очень добрая и, по замечанию Платониды Андревны, «не строгая». Она пустила Пизонского с принесенными им в плетушке детьми пожить в маленьком деревянном чуланчике, где у нее висели разные целебные и мнимо целебные коренья и травы. Пока до осени Пизонский приютился здесь так, что, по крайней мере, и дождей божий, и холодки ночные ему с детьми были не страшны; а Авенир каждую неделю раза два приносил сюда от Платониды Андревны и печеного, и вареного, и молока, и свежей огородины. Пизонский устраивался. Он постоянно сидел на полу в чулане возле кровати, на которой помещались его дети, и то забавлял их самодельными игрушками, то ковылял иглою, перешивая им из присылаемой Платонидой



Андревной ветоши разные рубашечки, шапочки, фуфаечки да эпанечки. О Пизонском еще почти никто в это время не знал в Старом Городе; а кто знал, тот или ничего о нем не думал, или думал, что это новый нищий, новый стоялец соборного притвора. Сама бабушка Роховна, глядя на его возню и хлопоты, не предрекала ему другой судьбины и мысленно упрекала его, зачем он забрал детишек.

– Как ты с ними будешь, Ионыч? – говорила ему не раз, указывая на детей, бабушка Роховна.

– Бабушка, – отвечал старухе Пизонский. – Сидел пророк Илия один в степи безлюдной; пред очами его было море Синее, а за спиною острая скала каменная, и надо бы ему погибнуть голодом у этой скалы дикой.

– Так, батюшка, – подтвердила Роховна.

– Да послал к нему Господь ворона, – говорил, оживляясь, Пизонский, – и повелел птице кормить слугу своего, и она его кормила. Замечай: птица, бабушка, кормила! *птица!*

– Так, батюшка, точно что кормила.

– Да, мать Февронья Роховна, кормила. И послал мне Господь двух птиц: летает ко мне ворон Авенир и печется обо мне белая лебедь Платонида Андревна, и прокормят они меня с цыплятками моими, пока я обошью ребетенка и сам стану на ноги.

«Где тебе стать на ноги?» – молча думала про себя, отходя от него, бабушка Роховна; но скоро она переменяла это мнение.

Константин Ионыч, принимая пособие Авенира и Платониды, однако и сам не сидел сиднем и не ждал воды под лежачий камень. Энциклопедизм скоро его выручил и показал даже бабушке Роховне, что ни сам Пизонский, ни его цыпляты действительно не пропадут – ни с холоду, ни с голоду.

Обшив девочек, Пизонский вступил с бабушкой в переговоры о дозволении обрядить ее чулан на свой счет в жилую каморку с тем, что он, как Бог его поправит, сдаст ей все в порядке, а пока будет здесь жить, станет ей платить по полтиннику в месяц.

Бабушка Роховна, не видя для себя в этом ничего, кроме прибýtка, согласилась. Пизонский, пользуясь теми часами, когда наигравшиеся дети засыпали, натаскал на бабушкин двор мешком глины, вымазал чулан самым тщательным образом, напихал в подполье земли, сложил крошечную печурку и, наконец, спокойно крякнул и сказал детям: ну, теперь вам, пташки, будет тепло, не замерзнете.

У-у, как богат и как счастлив теперь был Пизонский, и каким назидательным примером он мог бы служить для великого множества и скорбящих, и сетующих, и разрешающих проблематические трактаты о счастье!

## **VIII. Робинзон начинает приводить диких в удивление**

С устройством каморки Пизонский далеко отогнал от се-

бя всякое беспокойство. Теперь у него была только одна насущная забота: приучить старшую, пятилетнюю девочку Глашу присматривать, в его отсутствие, за ее младшей сестрой Нилочкой или, как Пизонский звал ее, *Милочкой*.

Достигнув того, что малосмысленную Милочку можно было оставлять под надзором Глаши, Константин Ионыч начал отлучаться на короткое время из дома, и после каждой такой отлучки возвращался всегда домой с очень странными покупками, на которые истратил последние два рубля, принесенные им из солдатчины. Прежде всего Пизонский пришел домой с каким-то старым горшком; потом он в несколько приемов натаскал к себе разных негодных баночек, пузырьков и бутылочек и наконец принес чернильных орешков, меду и голландской сажи. С этими препаратами и с этим материалом Пизонский уселся перед печкой за химические занятия. Дня через два он вышел из дому с большой бутылкой чернил и с деревянным ящичком черной лоснящейся ваксы. На чернилах Пизонский сбанкрутовал, потому что сторожа присутственных мест делали чернила на казенные деньги и, следовательно, могли продавать этот продукт на сторону гораздо дешевле Пизонского; но его свежая вакса оказалась гораздо лучше сухой синей ваксы, получаемой в плитках из Москвы, и эта часть коммерции его выручила. Константин Ионыч совсем ожил и стал еще смелее и предприимчивее. Скоро Старый Город увидел его беспрестанно спящего из дома в дом с набитым ваксою деревянным ящи-

ком и с дешевыми, очень прочными самодельными щетками. Пизонский летал со своим ящиком во все дома, в лавки, в присутственные места, на постоянные дворы; везде он тихо и не спеша снискивал себе общую расположенность, со всеми знакомился и всякому на что-нибудь пригужался. В уездном суде часы были лет двадцать с таким частым боем, что никто не мог счесть, сколько они ударили, час или двенадцать; Пизонский снял тяжелую боевую гирю, а вместо ее повесил небольшой холщовый мешочек с песком, и часы стали бить отчетисто: раз, два, три – как следует. Отцу-протопопу Туберозову он устроил в окне жестяной вентилятор; городскому голове сделал деревянную ногу, чтобы чистить на ней его высокие голенища; кому полудил кастрюлю; кому спаял изломанные медные вещи, склеил разбитую посуду, и Старый Город не успел оглянуться, как Пизонский, в самое короткое время, прослыл в нем самым преполезным человеком. Теперь кажется, если бы Пизонский сам задумал почему-нибудь оставить Старый Город, так все бы так и ахнули, так бы и заговорили в один голос: нет, как же это мы останемся без Константина Ионыча? Почтмейстерша, слывшая за большую хозяйку и великую ехидну, даже несколько раз публично выражала такое мнение, что без Пизонского в Старом Городе и жить было бы невозможно.

С голоса почтмейстерши, в самом скором времени, то же самое заговорили о Пизонском и другие.

– Нет, нет, нет, – говорили эти другие. – Боже спаси нас

остаться без Константина Ионыча! Теперь даже, как вспомнишь это время, как его у нас не было, когда за всяким пустяком, бывало, посылай в губернию, так и не понимаешь даже, как это мы и жили.

Пизонский, может быть, уже должен бы был заботиться о том, чтобы не возбуждать против себя зависти и злословия, потому что мужья восхвалявших его жен нередко отвечали на эти панегирики: ну да, без вашего Константина Ионыча уж мы бы и хлеба не ели!

Но Пизонский вел себя тихо, ровно и, не возносясь своими успехами, не возбуждал и ничьей зависти.

Доброе имя его все росло, и общее расположение к нему все увеличивалось. Расположение это выражалось не одними словами, но и делами. В городе вдруг оказалось несколько лиц, которых стала серьезно занимать мысль о том, как бы прочно устроить здесь многополезного Константина Ионыча.

Первая выразила такую заботливость почтмейстерша.

Эта полная, животрепещущая дама, которой, как греческого огня, боялись все почтальоны и которой больше всех боялся ее муж, зашла в своей расположенности к многополезному Пизонскому до того, что вменила мужу в неременную обязанность дать Пизонскому место при почтовой конторе.

– Матушка! – начинал, складывая на груди руки умоляющий почтмейстер, желая этим покорным жестом изъяснить

супруге, как трудно создать для Пизонского место при почтовой конторе.

– Что-с? – грозно окликала мужа животрепещущая почтмейстерша. – Я этого требую; слышите, *требую!*

– Ангел мой! – еще ниже одною нотою запевал почтмейстер. – Но если этого нельзя?

Почтмейстерша посмотрела на мужа холодным презрительным взглядом.

– Ну, я молчу уж, молчу, – отвечал, отходя в угол, почтмейстер.

– Нет, а вы бы поговорили.

– Нет, я, мамочка, молчу.

– Напрасно; право, напрасно, а то вы бы поговорили!

Но уж почтмейстер знал, что он замолчал не напрасно.

– Голубчик, Дезидерий Иваныч, – обратился на другой день почтмейстер к своему сортировщику. – Сделай милость, научи, как бы нам дать в конторе Пизонскому место. Непременно этого требует Агафья Алексевна.

– Ах, ты Боже мой! – отвечал сортировщик, и оба они с почтмейстером задумались.

– Разве вот что, – начал, потянув себя двумя перстами за нижнюю губу, Дезидерий Иваныч. – Разве посадить его расписываться в получательской книге.

– Вы, ей Богу, министр, – отвечал обрадованный почтмейстер и тотчас же послал сторожа за Константином Пизонским.

Призванный Пизонский и рад и не рад был своему счастью: с одной стороны, его манила прелесть заработка за расписку вместо неграмотных, а с другой, как вспоминал он степень собственной грамотности и особенно брал в расчет долговременное неупражнение в этом капризном искусстве, он не решался взяться за это хитрое дело.

– Робок я, девушка, на пере, – говорил он почтмейстеру.

– Дезидерий Иванович тебя, Константин Ионыч, поучит; он тебя поучит, поучит.

Пизонский подумал и, поджигаемый безгрешной корыстью, отвечал: ну, разве поучит.

Дали таким манером Пизонскому место – только не впрок пошло ему это место по протекции. Первый же почтовый день, в который ему пришлось расписываться за неграмотного получателя, был и последним днем его почтовой службы.

– Пиши, Константин Ионыч, – диктовал ему сортировщик.

Пизонский взял в руки перо; сначала его послунил, потом обмакнул, потом положил на бумагу руку, а на руку налегнул правой щекою, долго выводил пером разные разводы и наконец воскликнул: *есть!*

Сортировщик с внятными расстановками начал диктовать «онье семь рублей и десять копеек серебром получил и расписался такой-то, а вместо его неграмотного отставной рядовой Константин Пизонский».

Пизонский еще крепче прижал щеку к бумаге и пошел выводить.

На этот раз он рисовал до бесконечности долго; круглые глаза его выпирало от внимательного следования за водящею пером рукою; на лбу собирались капли холодного пота, и все лицо его выражало невыносимую тревогу.

Это продолжалось добрую четверть часа, по истечении которой Пизонский вдруг быстро откинулся на спинку стула, потом вскочил и затрясся, не сводя глаз с своей расписки. Вид его в это время был просто ужасен: он походил на медиума, вызвавшего страшного духа и испуганного его явлением. Сортировщик и почтмейстер заглянули на роковую страницу и остолбенели. На этой странице рукою Пизонского было изображено: «Оние скилбуры и удаст кокеу с рублем почул и роспился отстегни на вид Константинтинтин...»

Это убийственное для воспроизведения пером имя подняло в душе Пизонского все забытые страдания его сиротского детства; каждое одно из другого вытекавшее «тинтинтин» являлось перед ним новым, злым, насмешливым кобольдом, или гномом, и он не выдержал, встал в страхе и затрясся.

– Вот, ангел мой, как он расписался, – говорил через минуту почтмейстер, предъявляя жене испорченную получательскую книгу.

Почтмейстерша не выдержала и улыбнулась, прочитавши Пизонского «скилбуры».



– И «отстегни на вид», – указывал ей обрадованный ее улыбкою почтмейстер.

– Ну, что ж вы тут такое особенное показываете?

– Да помилуй же, душка: «отстегни на вид». Как же это можно так расписываться? В этом ведь просто нет смысла.

– Решительно я здесь ничего не вижу, – отвечала твердым голосом почтмейстерша. – Я бог знает как уверена, что в этом есть смысл и что он это откуда-нибудь из полкового припомнил. Да, именно даже из полкового, потому что, когда я имела много знакомых полковых, я всегда слышала, что есть такая команда.

– Душенька моя, нету!

– Да уж нечего душкаться; не мог же он сам этого выдумать? Согласитесь вы с тем, что сам человек этого выдумать не может?

– Я, душенька, с этим готов согласиться, – отвечал почтмейстер.

– Ну, а впрочем, я точно согласна, что он к почтовой службе неспособен.

– Решительно, друг мой, неспособен.

– Да, я это вижу, что неспособен, но я все-таки буду о нем самого хорошего мнения, – отвечала почтмейстерша так, как будто она была хорошего мнения о тех, которые к почтовой службе способны.

Этот новый анекдот о Пизонском разошелся по городу, но и он нимало не повредил его незыблемой репутации.

Напротив, Пизонского чуть ли не с этих пор даже начали принимать в чиновничьих домах не как ремесленника, а как свободного художника, которому мелочи, приказное строчительство даже и неприличны. Его теперь не кормили на кухнях, а сажали на особый стул у двери залы; ему подносили рюмку водки не между пальцами, а на ломте хлеба, и говорили ему в глаза не просто «ты», а «ты, Константин Ионыч». Он до такой степени выдвигался из положения рабочего смерда, что даже сам голова стал посылать ему чаю не в сени, а в молодцовскую и позволял рассуждать с собою, стоя у притолки. И не прошло года, как все заметные люди Старого Города самым незаметным образом очутились друзьями и сторонниками убогого пришельца Пизонского. Даже молодой народ, по натуре своей везде народ ветреный и легкомысленный, отзывался о Константине Ионыче небезвыгодно для его значения в городе. «Да, этот Пизон, – говорила молодежь, – дарма, что он набекрень нос носит, ну, а меж тем он шельма прештуковатый».

Принося всем и каждому посильные услуги и втираясь, без всяких подобострастных искательств, во всеобщее расположение, Константин Ионыч никогда не жаловался на свою судьбу и даже никогда ни слова никому не говорил о своих сиротках. Разве когда кто сам его о них спрашивал: «Ну как, Константин Ионыч, твои дети?» – то только в таких случаях Пизонский отвечал: «А живут, девушка, растут по-маленьку».

– Ты бы, Константин Ионыч, подумал, чтоб дать им какое-нибудь воспитание, – говорили ему барыни. Пизонский отмалчивался или коротко отвечал:

– Думаю, девонька, думаю.

– Хоть бы ты ко мне их присылал поучиться, – предлагала ему почтмейстерша.

Пизонский и от этого отделался.

– Дики они у меня, дружок; очень сиротливы; людей не видали; куда им в господском доме!

У Константина Ионыча насчет воспитания сирот были свои планы, о которых он ни с кем не говорил, но которые знал до малейших деталей.

Совесть, не допуская Пизонского никому ни на шаг не заступит никакой дороги, изошрила его внимание к тем бросовым средствам, которые лежат праздными, которые как бы никому ни на что не нужны и не обращают на себя ничьего внимания. Неудача почтовой карьеры еще более убедила Пизонского, что он не может идти теми путями, которые легче и которыми могут идти другие. Он как бы чувствовал, что ему суждены свои исключительные пути; что для него гораздо удобнее брать в свои руки то, чем небрегли другие и что не даст ему ни недостойной борьбы, ни врагов и завистников.

Пизонский видел, что на нашей просторной земле, на нашей широкой полосе и нежатой, и неоранной, еще нетронутого добра будет и преизбует на всякую плоть, не щадящую

пота своего, и он сделал новый шаг к устройству сирот своих. В одно лето Пизонский явился на сходку в думу и сказал: не будет ли, господа думцы, вашей милости пустить меня с сиротами покормиться под мост на пустой остров?

– И вправду, – заговорило общество. – Пустим их на наш пустой остров.

И Пизонский безданно и беспошлинно получил в долгосрочную временную собственность огромный остров – царство запустения, бурьяна, ужей и крапивы.

Это приобретение было для Пизонского таким великим счастьем, что он не мог и вообразить теперь кого-нибудь счастливее себя на целом свете. В первый же год по получении в свою власть этого острова он поставил здесь хибарочку, выкопал землянку, окопал ровок и поставил воротцы. На другой год пустынный остров был уже бакшою, давшею Пизонскому с сиротами и хлеб, и соль, и все, еже им на потребу. Зимой Пизонский почувствовал себя даже барином. Он добыл где мог различных книжек и научил своих сироток грамоте. Быстрые успехи обеих очень понятливых девочек были Пизонскому неслыханным утешением. Дети, действительно, необыкновенно скоро научились читать и писать, и особенными успехами в грамоте отличалась старшая, Глаша. Младшая, Милочка, училась несколько тупее, но зато в Глаше замечались кое-какие капризцы, с которыми мягкий Пизонский никак не мог справиться, между тем как Милочка с самого раннего детства росла такою умною, такою рас-

судительную, что дядя Котън, любивший обеих своих питомиц равною, нежною любовью, все-таки, против воли своей, более привязывался к спокойной Милочке. В таком прелестном благополучии, в таком райском житье прошли для нашего Робинзона целые четыре года: семейный мир его не возмущался ничем ни на минуту; дети его подрастали и учились; у него завелась лошадка и тележка, которую он, по любви к искусствам, каждую весну перекрашивал в новую краску; годы шли урожайные, нечего было и желать больше. Одно иногда сокрушало Пизонского, это то, что собственные его воспитательные силы были слабы для того, чтобы научить сирот чему-нибудь полезному, но с этим горем он еще надеялся посчитаться и наверное уповал с ним справиться. *Но ...* всегда ждут нас, где мы не думаем, разные скверные *но*.

Вспомнила про Константина Пизонского его знакомая старушка Горе и послала свою дружку Беду, чтобы та его понаведала, и беда пала на Пизонского, как снег на голову; пала тяжелой напраслиной, неожиданной-негаданной и угрожающей обратить в прах, в тень, в дым все то, что должно было сделаться закваскою жизни и закваской этого романа.

## **IX. Беда видит и бредит**

В тот приснопамятный год, когда во многих местах России перед осенью во второй раз зацвели в садах вишни и яблони и народ запророчествовал по этому явлению вели-

кий мор на люди, отошел в вечность Марко Деев, муж встреченной нами утром на огороде молодницы Платонида Андреевны. В огромной дубовой колоде с пудовыми свечами, с ладанным курением и гнусливым раскольничьим пением отнесли его, раба божия, на кладбище и сравняли по обычаю с землею, которую он протоптал лет полсотни своими сапожищами. Никто особенно не голосил и не убивался на могиле отошедшего Марка. Вдова его, Платонида Андреевна, тихонько поплакала, да старик Маркел Семеныч уронил несколько слезинок, да только всего и было вещественного выражения скорби по этом усопшем. Брат покойника Авенир оставался совершенно равнодушен к смерти своего жестокого брата, тем более что в течение трех последних дней, которые мертвец простоял в доме, старик Маркел Семеныч, начавший страха ради холерного прилежать чарочке, раз пять принимался колотить Авенира чем попадя, упрекая его при этом в бесчувственности и говоря, что «вот тебе бы нерачителю дома следовало растянуться, а не брату». Маркел Семеныч, взволновавшись один раз горем утраты, страхом смерти и вином утешения, никак не мог войти в свою форму и не уставал поддерживать себя стаканом. Засыпав сына землею, он и там на кладбище выпил за его душу одну серебряную чарочку, роздал там же своею рукою мешок медных денег на помин сыновней души и сел верхом на свои старинные дрожки, запряженные толстою вороною лошадыю, а в колени, боком к нему, робко присела овдовевшая невестка

Платонида Андревна. Ясные с темной поволокой глаза молодой вдовы были очень мало заплаканы, и чуть только она со свекром выехала с кладбища на поле, отделяющее могилки от города, эти ясные глаза совсем высохли и взглянули из-под густых ресниц своих еще чище, чем смотрели доселе. Словно они только умылись слезой, или словно теперь только они и увидели впервые свет Божий. Да, именно скорее можно было предполагать, что они теперь только впервые и увидели этот свет. Это говорили не одни глаза красавицы, но и ее белая грудь, которая вздыхала теперь вольно и широко – колышась под кармазинной душегрейкой.

Кто бы теперь только не пожалел этой пышной розы; чья бы рука налегнула срезать этот цветок, так сильно протестовавший за свое право цвести, радовать зрение и разливаться ароматом?

Даже суровый старик Деев не щунял ее за скудость источников ее слез; и он, возвращаясь с сыновних похорон, прощал невестке земную красоту ее и, поглядев на нее, проговорил только:

– Тебе неловко сидеть, Платонида! Сядь, лебедь, сюда ближе! – С этим старик своею рукою подвинул невестку от кучеровой спины к своим коленям и еще раз добавил: – Сядь так.

– Нет, тятенька, ничего мне; мне очень прекрасно, – отвечала Платонида Андревна.

– А ты еще попридвинься, еще лучше будет.

Платонида Андревна в угоду свекру слегка подвинулась. Маркел Семеныч долго смотрел ей на нос, на лоб, на ресницы и, наконец, проговорил:

– Ты, молодлица, по муже хошь и плачь в свою меру, потому что он тебе был муж; ну, очень-то уж ты не убивайся: ты забыта и обижена в моем доме не будешь.

Платонида Андревна легонько поклонилась свекру.

Эта покорная благодарность так понравилась Маркелу Семенычу, что он, слезая у ворот с дрожек, крепко сжал за локоть невесткину руку и еще раз сказал ей:

– Не бойся, моя лебедь, никого не бойся.

За заупокойным столом Маркел Семеныч несколько раз публично заговаривал, что хоша сын его и умер бездетным, но что он, почитаючи его вдову, а свою невестку, желает ей сделать определение и намерен дать ей равную с Авениром часть.

– А, может быть даже, – добавлял он, искоса взглядывая на Авенира, – может быть, что в таком буду мнении, что и все ей одной отпишу, как она того заслуживает, потому что ничем я не могу ее укорить и всем я ею доволен, а добро есть мое собственное – кому его хочу дать, тому и дам.

Платонида Андревна краснела до самых ушей, не знала, что ей говорить и что думать, и в смущении растерянно кланялась за столом в пояс свекру.

Во все время обеда Маркел Семеныч все себя подправлял, все попивал по чашечке и, наконец, захмелел. Проводив, как



мог, гостей, он повалился на диван и только бессмысленно произнес:

– Невестка!

Платонида Андревна с Авениром взяли старика под руки и отвели его в спальню.

– Невестка! – произнес он снова, еще более заплетая языком, когда его положили в постель.

– Что изволите? – спросила его Платонида Андревна, но Маркел Семеныч уж спал и ничего ей не ответил.

Авенир с Платонидой оставили старика высыпаться и разошлись: Авенир, побродив по огороду, пошел со двора, а молодая вдова села, пригорюнясь, у окошечка. Сурового, неприветливого мужа ей не жаль было ни крошечки, потому что ничего она от него во всю свою жизнь не видела, кроме угроз да попреков, и никогда ничего лучшего не ожидала от него и в будущем. Но что же и теперь у нее впереди? Что ждет ее одинокую, вдовую, бесприданную в ее нынешних молодых годах? А жизнь так хороша; а жить так хочется, так манится, так что-то кружится-кружится перед глазами...

– Эх, чур меня совсем, что это такое мне думается, – проговорила в досаде Платонида Андревна и, сердито почесав одною рукою локоть другой руки, оперлась ею о подоконник и села и стала глядеть, как на карнизе фронтона амбаров сладко цалуются с дружками сизые голуби.

«Лучше б уж скорей состареться; лучше б я не шла никогда замуж; лучше б меня в монастырь отдали»... – думала

она, отирая кисейным рукавом выступавшие на глазах слезы, и, вздыхая, перекладывала голову с одной усталой руки на другую. Так прошел час, другой, третий, и тяжелый день тихо сгорел перед ее глазами.

В самые густые сумерки к ней вошел Авенир. Он оглянулся по комнате, повесил на колок фуражку, сел против невестки на стул и подал ей на руке кисть винограда.

– Где ты взял это, Авенир? – спросила его Платонида Андревна.

– Лялиным бакалей пришла, так и этого привезли – только, говорят, его теперь есть при этой болезни не годится.

– Отчего не годится? Ну-ка, дай-ка сюда, я попробую, как не годится.

Платонида взяла виноградную кисть, объела на ней все ягоды, обтерла рукавом алые губы и, выбросив на галерейку за окно пустую кисть, потихоньку засмеялась.

И Авенир, и вдова были совершенно спокойны; но обоим им что-то не говорилось.

– Ты где это был? – спросила деверя нехотя Платонида.

– Так... в проходку немножко ходил, – отвечал Авенир.

– Скучища у нас на дворе такая, что ужась.

– Да ведь что заведешь делать-то?

– Что ты говоришь?

– Говорю, что что ж, мол, заведешь делать, что скука.

– Мой бы згад теперь хорошо спать ложиться, – проговорила Платонида Андревна.

– Да и что ж такое.

– Только и всего, что тятенька встанут, надо им чай собрать.

– А вы тогда и встаньте, как он проснется; да он хмелен очень; навряд он еще и проснется-то.

– И то послушаюсь тебя, часочек какой вздремну покуда так в платье. Иди-ка ты от меня с Богом.

Молодой человек встал и снял с гвоздя свою фуражку. В одно время с ним поднялась со своего места и Платонида и, позевывая, проговорила:

– Ох, Господи, чтой-то у меня перед чем-то так локти чешутся?

– На другом месте спать, невестка.

– Еще что ври! на каком это на другом месте спать мне? Это локти к горю чешутся, – добавила она, выпроваживая деверя, и защелкнула за ним дверь на задвижку.

Оставшись одна в запертой комнате, Платонида поставила около покрытого ковром сундука свечу и железный ящик с трупом, серниками и огнивом, перекрестилась, легла на этот сундук и, утомленная трехдневными хлопотами по похоронам, в ту же минуту крепко заснула. Ничего во сне не привиделось Платониде Андревне, только все ей сквозь крепкий сон хотелось проснуться, потому что знала она, что нужно ей еще напоить свекра чаем, и даже стало ей чудиться, будто свекор ее кличет и говорит ей: «Что ж это ты, Платонида, развалилась, словно белуга разварная! встань же, на-

пой меня, пожалуйста, чаем». И два, и три, и четыре раза все это слышалось Платониде и, наконец, в пятый уж раз послышалось так явственно, что она вскочила и, сидя на постели, крикнула:

– Сейчас, тятенька, сейчас!

Протерши глаза, Платонида Андревна оглянулась по покою: кругом темнота густая; черного шкафа даже никак не отличишь от желтой стены; на лежанке, впрочем, чуть обозначается блестящий самовар, да длинное полотенце белеется на шнурке, словно мертвец, стоящий в саване.

Платонида Андревна вздула огня, потом запустила руку под сундук и достала оттуда топор, а из угла взяла сухое березовое полено, чтобы нащипать лучинки. Но прежде, чем ударить хоть раз топором по плахе, подумала: «Да не послышалось ли все это мне во сне? Может, батюшка и спит еще».

Эта мысль заставила молодую женщину взять свечу и выйти в залу.

На больших стенных часах было половина первого. Платонида Андреевна потихоньку подошла к двери свекровой спальни и прилегла ухом к створу. В опочивальне старика было тихохонько.

– Это мне, значит, все во сне почудилось, – решила вдова и, зевнув, пошла опять в свою комнату.

Снова запершись на крючок в своей вдовьей спальне, Платонида Андреевна поставила свечу на стол против окна и стала раздеваться.

«Ну, да будет же с меня хоть и этого счастья! будет с меня хоть и того, что я хоть в спанье-то, хоть в покое-то поживу пока без него, без привередника», – подумала она и, нетерпеливо сбросив на пол две лишние теперь подушки, развязала юбку и села на постель с такою смелостью, с какою не подходила к ней и не садилась на нее отроду.

## **Х. Напасть проснулась и встала**

Новые ощущения независимости и свободы так переполняли душу и мысли Платониды Андревны, что ей даже не захотелось и спать, да к тому же она и выспалась. Теперь ей хотелось сидеть, думать, бог весть о чем думать, и только думать. Она так долго не смела ни ступить, ни молвить слова без упрека и без научения, и вот теперь она одна, никто ее не видит на этой постели, никто ей не скажет: чего ты тут вьешься? чего тут ёрзаешь?

Она пересела еще раз, и еще; потом прилегла впоперек кровати и снова привсталала и, улыбнувшись на две лежащие на полу подушки, вспрыгнула и тихо в ту же минуту насупила брови. На верхней подушке, по самой середине была небольшая ложбинка, как будто бы здесь кто лежал головою. В самом верху над этой запавшей ложбинкой, в том месте, где на мертвецком венце нарисован спаситель, сидел серый ночной мотылек. Он сидел, высоко приподнявшись на тоненьких ножках, и то поднимал, то опускал свои крылышки.

Платонида вздрогнула. Серая, пыльная тля в мгновение ока истлила ее эгоистическую радость; а этой порой мотылек и еще раз, и два, и три раза тихо коснулся подушки своими крылами и тихо же снялся, и тихо пропал за окном во тьме теплой ночи.

Вдова быстро встала с постели; спешной рукой затворила за улетевшею бабочкой открытую раму и молвила: грех мне! Не честь мне; не след мне валять на пол его подушки!

С этими словами она подняла подушки с полу и положила их на пустую лежанку.

В эту минуту ей послышалось, что у нее за дверью кто-то вздохнул.

Платонида еще круче сдвинула брови; снова схватила еще торопливее те же самые подушки и, положив их на диван под святые, быстро отошла от них прочь и стала у своей кровати.

Теперь все было тихо по целой комнате, и на полу, и на холодной лежанке, и за запертой дверью, и на постели.

– О, упокой, упокой его, Господи, – сказала себе вдова с чувством теплой признательности мужу за то, что он умер и оставил ее хоть госпожою этого угла, да постели. – Но полно мне полуношничать! – И Платонида стала раздеваться.

В это время ей опять показалось, что как будто кто-то стукнул рюмкой у шкафчика, в котором покойный муж всегда держал под ключом вино и настойку. Платонида Андревна, стянув с себя половину чулка, подождала и, не услышав более ни одного звука, подумала: верно, это возьятся мыши.

Успокоив себя этим предположением, молодая женщина сдернула с себя чулки и подошла к стоящему перед окном маленькому паркетному столику; поставила на него свечу и, лениво потянувшись, стала сменять дневную сорочку. Но только лишь она спустила с плеча распущенный ворот, как вдруг ей показалось, что что-то такое темною тенью промелькнуло по галерее, мимо самого ее окошка. Ей почудилось, что это словно тень человеческая. Платонида Андревна была впечатлительна, но не суеверна. Она сообразила, что это ходит живой человек, а не пришлец из гроба, и в ту же секунду быстро задула свечку и, скорей нахватив на себя ночную рубашку, подумала: «Однако, что ж это за мерзавец, этот негодный Авенирка! В рожу ему только после этого остается плюнуть!» – добавила она в негодовании и твердо решила не простить шалуну этой новой его дерзости. Она накинула себе на голые плечи старенькую гарнитуровую шубейку, в которой мы ее видели утром разговаривавшую с Авениром на огороде, и притаилась тихо за оконницей. На галерее теперь все было тихохонько; не слышно было ни шума, ни шороха; но Платонида не доверяла этой тишине. Она притаилась и стояла с самым решительным намерением при первом новом появлении под ее окном ночного посетителя распахнуть раму и плюнуть ему в лицо.

Соображения Платониды Андревны не обманули ее: ночной гость не заставил себя дожидаться долго. Не успела полураздетая вдова и пяти минут простоять за оконным кося-

ком, как со стороны галереи, по темному стеклу окна тихо выползла сначала одна кисть человеческой руки; потом показался локоть, потом плечо, и наконец выдвинулась целая мужская фигура. Как ни темна была безлунная ночь, только изредка мерцавшая несколькими звездочками, но в комнате стало еще темнее, когда единственное окно совсем заслонила собою подошедшая фигура. Платонида продолжала стоять тихо, придерживая руками грудь, в которой крепко стучало и невольно замирало и страхом, и негодованием нетерпеливое сердце. Но, несмотря на все свое негодование, оскорбленная вдова, однако, удерживалась и, утаивая дыхание, ждала, что из этого будет? чем все это кончится?

Между тем, ночной соглядатай стоял и прислушивался очень долго, наконец, ободренный мертвою тишиною, осторожно тронул пальцами запертые изнутри полы створчатой рамы. Он делал это с большой осторожностью, но делал неловко. Пальцы его беспрестанно соскользали и черкали ногтями по окрашенной планке рамы. Платонида слегка придвинула к окну свое ухо, и ей стало слышно, что царпавшийся к ней человек тяжело дышит и дрожит всем телом. По мере того, как Платонида Андревна, скрепя свое сердце, долее и долее удерживалась, противная сторона все становилась смелее и уже начинала потряхивать раму без всякого опасения и без всякой осторожности.

«Однако, этак он, мерзавец, чего доброго, еще может разбудить и свекра», – подумала Платонида Андревна и с



неописанным негодованием бросилась к окну и остолбенела.

У окна стоял ее седой свекор Маркел Семеныч.

Платонида удержала свой порыв и в недоумении опустила руки.

Увидя перед собою невестку, Маркел Семеныч на мгновение смутился, но потом что-то глухо загомонил и тихо застучал в стекло косточкою среднего пальца.

– Что вам, тятенька, угодно? – выговорила, стараясь опрavityся в свою очередь и Платонида Андреевна.

Старик снова что-то зашептал еще тише; но из этих речей его в комнате не было слышно ни одного слова.

– Не слышу, – сказала Платонида Андреевна, прикладывая к створу окна свое ухо.

Маркел Семеныч начал страстно целовать стекло, к которому прилегал локоть Платонида.

Невестка с ужасом посмотрела на свекра и не узнала его. Совершенно седая голова старика, напоминающая прекрасную голову Авенира, была художественно впутана, как голова беловласого Юпитера; глаза его горели, и белая миткалевая рубашка ходила ходенем на трепещущей груди.

– Лебедь! лебедь! – шептал ошалевший старик, царапаясь в окно невесткиной вдовьей спальни, как блудливый кот в закрытую скриницу.

– Я, тятенька, сейчас вам поставлю самовар, – проговорила, отодвигаясь от окна, смущенная Платонида Андреевна.

– Нет, ты самовара не ставь... не надо самовара... Ты ото-

при мне... вот что... я тебе слово скажу... одно слово только...

– Да что же вам надобно-то? что такое?

– Что?

– Да, что? что надобно?

Старик забормотал. Платонида тихо покачала головою и отвечала:

– Не слышу.

– Спрысни водой, – произнес Деев.

– Кого?

– Меня, меня водой sprysni.

– Ну, дай час, тятенька, я враз оденусь.

– Нет, нет, нет, зачем тебе одеваться? и одеваться не надо: ты не одевайся; ты отопри скорей... отопри...

– Да я, тятенька, в одной блошнице!

– Ну так что ж, что в одной блошнице!.. Мы ведь с тобой не чужие... не чужие... Отопри на минутку, – настаивал беспокойно, суетясь на одном месте, старик.

Платонида Андревна в раздумье и нерешительности высвободила из душегрейки одну руку, и только лишь белое плечо ее сверкнуло в темноте ночи перед глазами Маркела Семеныча, как медный крючок, запиравший раму, от сильного толчка полетел на подоконник, рама с шумом распахнулась, и обе руки свекра жадно схватились за ворот невесткиной душегрейки.

– Тятенька! тятенька! да что же это такое? – закричала,

отчаянно вырываясь, Платонида Андревна; но свекор, вместо ответа, рванул сильной рукою ворот ее шубейки и впился горячими губами в ее обнаженное плечо.

– Блудня! прочь от меня! – вскрикнула с омерзением Платонида, почувствовав на своей груди трясущуюся сухую бороду свекра. Уразумев, наконец, настоящий смысл его посещения, она с азартом запустила обе свои руки в белые волосы свекра и оттянула его голову от своей груди. Но она была не в силах остановить этого безумного напора. В это же самое мгновение она почувствовала крепкие, жилистые руки свекра вокруг своего стана, покрытого одною холщовой рубашкой. Душегрейка с нее слетела, и она почти нагая очутилась в объятиях распаленного старца.

– Батюшка! смилуйся! ты хмелен, ты мне по муже родитель; я от тебя этого стерпеть не могу! – говорила вдова, разжимая руку, захватившую свекровы волосы. Но Маркел Семеныч только крепче сжал стан невестки и, тесно прижимаясь к ней всею фигурой, разом перенес в комнату через подоконник свою ногу.

Платонида отчаянно вскрикнула, юркнула из-под рук свекра на пол, и в руке ее блеснул топор, которым она за час перед этим собиралась щипать лучину. В одно мгновенье топор этот, звякнув, вонзился в столб галереи, и в это же самое мгновение Маркел Семеныч тяжело рыхнулся навзничь и застонал.

Бросив топором в свекра, Платонида Андревна была уве-

рена, что она старика убила. В немом ужасе она выскочила из своей комнаты, перебежала двор, остановилась у задних ворот и, тяжело дыша, схватилась за сердце. В тишине ночи до ее слуха долетело прерывистое хрипение. Платонида Андреевна дрожала: в ушах ее раздавались резкие, свистящие звуки, как будто над самую ее голову быстро пронеслась бесчисленная стая куропаток; крыши и стены зданий разрушались, кровь, острог, страшное бесчеловечное наказание, вечная каторга – все разом, как молния, пронеслось пред мысленными очами вдовы, еще так недавно мечтавшей о жизни, и заставило ее вострепнуться с отчаянной энергией. Она запахнула около груди шубейку, тихо выползла в подворотню на огород, с огорода перебралась через тын за город и, ударившись бежать задами, пропала в темноте ночи.

Между тем, Маркел Семеныч тяжело хрипел, лежа на галерее. Удар Платониды Андреевны минул его седой головы; но он минул ее лишь только потому, что за терцию до этого удара две сильные руки Авенира схватили отца сзади и бросили его на пол в то самое мгновение, когда блеснувший топор, слегка поранив плечо старика, глубоко завяз в дереве. Маркел Семеныч не чувствовал ни своей раны, ни своего стыда и унижения. Теперь не было ни страсти в его крови, ни негодования в его сердце, ни силы в мышцах. Старая плоть его, распаясь вином и разыграв сластью желаний, сразу упала до совершенного бессилия. Так оцепеневший под снегом овраг порою разыграет при мартовском солнце, зашу-

мит быстрым подснежным потоком и, сбежав, обессиленный рухнет всей своею массою на холодное днище.

—

Не видя со стороны отца никакого сопротивления, Авенир подержал его на полу и потом освободил и сам молча скрылся. Старик, оставшись один, опомнился нескоро и не вдруг почувствовал униженное состояние, в котором теперь находился.

О побеге Платонида Андревны ни он, ни Авенир не знали во всю ночь. Оба они думали, что невестка заперлась у себя в кладовой на вышке. Первый в доме хватился ее на другой день Авенир. Он долго искал ее и нигде не нашел. Старик Маркел Семеныч заперся у себя и не показывался.

Платонида Андревна сгинула. Нигде не могли найти никаких ее следов, и пропажа ее сделалась причиною больших несчастий для того, кто менее всех был в ней повинен.

Вынужденный объяснять чем-нибудь пропажу невестки и не уверенный, что она станет говорить в случае ее отыскания, Маркел Семеныч завершил ночь безумия своего клеветою, что Платонида с Авениром хотели его убить и ограбить, и показал свою рану. Этим он мстил и сыну, и невестке и разом отделялся от обоих. Авенира взяли в тюрьму, а полицейским розыском, поднявшимся по случаю пропажи Платонида Андреевны, было обнаружено, что ночные водоливы, работавшие в ту ночь на одной чинившейся барке, видели, как кто-то белая, не то женщина, не то, еще вернее, ведьма

шибко пробежала по берегу и вдруг где-то исчезла. Двое из водоливов говорили, что ведьма скинулась рыбою и бросилась в воду, а двое других, напротив, утверждали, что они ясно видели, как она переплыла в рубашке речку и вышла на бакшу к Константину Пизонскому.

Пизонского заподозрили в укрывательстве Деевой невестки; его обыскали, допрашивали, посадили в острог и, вероятно, засудили бы до смерти. Хотя Константин Ионыч на все чинимые ему вопросы и отвечал следователям: «ничего я этого, милые, никогда не знала и не ведала», но было ясно, как солнце, что в целом мире, может быть, только один Пизонский и знал, куда девалась пропавшая деевская невестка. И судьи, и обыватели города живо чувствовали, что для разьяснения всего этого неразгаданного дела только и нужно, чтобы разомкнулись молчаливые уста Константина Пизонского. Судьи утверждали, что старгородский Робинзон лжет, отпираясь от всякого участия в исчезновении Платониды Андревны, и что он, может быть, и сам прикосновен к покушению на жизнь старика Деева. Не отрицал и народ, что Константин Ионыч лжет, повторяя свое «не знаю, не ведаю», но народ был уверен, что Пизонский лжет ложью негрешною; что его ложь есть ложь во спасение.

Мы увидим, как основательны были все эти соображения насчет участия Константина Пизонского в деле пропавшей вдовицы.

## **XI. Старое старится, а молодое растет**

Пизонский не пропал. «Не знаю и не ведаю» – его вызволили, как вызволили они многих на святой Руси, в приоблаженное время ее старых порядков. Как ни велики были подозрения, что деевская невестка прямо к нему кинулась после своего неудачного покушения на жизнь своего свекра, но положительного доказательства на это не было никакого, и Пизонского, ко всеобщему радованию многочисленных его друзей и доброжелателей, снова выпустили на свободу.

Константин Ионыч вышел из тюрьмы такой же спокойный, как и вошел в нее. Одинокие дети его были взяты, во время его заключения, бабушкой Роховной, и запустелая хибара его стояла необитаемая среди заглохшей бакши.

Пизонский знал, что сироты его находились у Роховны, но выйдя из тюрьмы, все-таки не направился прямо к Роховне, а устремился к своей хибарке. Переступив за порог скромного своего жилища, он вдруг скинул с себя маску невозмутимого спокойствия, торопливо запер за собою на крючок дверь, бросил на землю свою ветхую чуйку и, как крот, заработал руками в сухом бурьяне, сваленном кучею в угле небольших сенец. Скинув в сторону этот бурьян, Константин Ионыч открыл небольшой люк и одним прыжком очутился в очень просторной землянке, заставленной огородными инструментами: лопатами, заступами, мотыками и скребка-

ми. Вдоль всей этой землянки висели на веревках длинные, толстые шесты, через которые были перекинута пуки завянувшего укропа, мяты, зори и шалфея. Все это теперь было покрыто зеленою плесенью, все отволгло, загнило и перепортилось; но Пизонский ни на минуту не остановил своего взора на своем погибшем сокровище. При свете, падавшем из узенького окошечка, продланного под самым потолком этого погреба, он тщательно осматривал все уголки, искал чего-то по темным местам, как будто преследуя уползшую от глаз маленькую козявочку, и, наконец, что-то нашел. Это *что-то* было просто белое голубиное перышко, приколотое к стене маленькой рыбьей костью. Увидев этот предмет, Пизонский постоял перед ним с минуту в совершенном молчании; потом, пригнувшись еще ближе к тому месту, где было прикреплено перышко, заметил, что здесь, немножко пониже пера, было выцарапано на стене семь небольших крестиков. Пизонский счел эти крестики, снял белое перышко и безмолвную косточку безмолвной рыбы, благодарственно перекрестился и, вылезши из подполья, отправился за своими сиротками и снова зажил прежним Робинзоном.

Великой горестью для Пизонского была участь Авенира, которого суд выпустил, как и Константина Ионыча, но отец, во имя своих родительских прав, устроил сдачу его за непочтение в солдаты, с назначением в отдаленнейшие батальоны. Пизонский очень скорбел об участи Авенира, но ничем не мог пособить ему, и Авенир пошел своей суровой доро-



гой, а Пизонский по-старому трудился на своей бакше, то копаясь в земле, то поучивая грамоте своих девочек. Черненькие девочки, под нежной опекой Константина Ионыча, вырастали свеженькие и здоровенькие, как две свежие ягодки румяной омелы. Пизонский учил их читать и писать, рассказывал им жизни, жития, рыцарские баллады, которые выучил наизусть, живя еще с своим бывшим ремесленным учителем; одевал их в платья собственного изделия и звал *жучками в эпанечках*. В последние годы он еще более предался им весь, всею душою своею, и не мог на них налюбоваться. Но прошли два-три года; минуло и еще три года, и спокойствие Пизонского снова стало немножечко возмущаться. Это случилось, когда старшая из девочек, Глаша, начала подрастать и приподниматься на ноги. Пизонский как будто не ожидал этого и вдруг, спохватившись, ахнул и засуетился. Он собрал все свои трудами и бережливостью накопленные деньги, счел их, привязал на шейку Милочке, а сам справил себе дорожную амуницию и, недолго думая, дернул зимою в Москву, куда в детстве еще был завезен каким-то сердобольным стариком-анакоретом брат покойной матери «жучков» Иван Ильич Пуговкин. Пизонский никогда и в глаза не видал этого родственника и знал о нем только, что ему теперь должно было быть около двадцати двух или четырех лет, да еще слышал он от городских хроникеров, что благодетель, взявший Пуговкина, оставил будто бы ему несметное наследство. Константин Ионыч вознамерился, во что бы то

ни стало, отыскать разбогатевшего дядю сирот, но отыскал его не богачом, а таким же точно бедняком, каков был сам Пизонский. Благодетель Пуговкина, действительно, воспитал его и довел до университета, но не оставил ему ничего, ибо, как оказалось после его смерти, и сам никогда ничего запасного не имел. В тот год, когда Пизонский отправился на поиски Пуговкина, этот уже заключал свою студенческую жизнь и приготавливался к окончательному медицинскому экзамену. Константин Ионыч нашел студента и отрекомендовался ему «братцем».

Пизонский, без всяких подходов и рисовки, рассказал Пуговкину свою историю; рассказал ему, как он спас «жучков» от слепой Пустырихи; как питал и грел их и, наконец, как вырастил и чему выучил, «а теперь, – заключал он, – теперь пришел я к вам, братец, потому что жалею их до бесконечности и не нахожу в себе разума, как и к чему их определить и направить. А теперь, братец, к вам... пришел к вам... – продолжал с перерывами, поднявшись во весь свой рост, Константин Пизонский, – заступись, святая душа! заступись за сирот!»

Константин Ионыч сложил на груди руки и с дрожащими на глазах слезами стал перед молодым человеком на колени.

Студент был тронут до глубины. Увидя Пизонского коленапоклоненным перед собою, он быстро протянул ему с сочувствием обе руки.

В свою очередь, растроганный Пизонский, не выдержав,

быстро схватил руку студента и жарко поцаловал ее.

– Дядя Костя! дядя Костя! всегда будь уверен, голубчик!  
будь всегда уверен, – заговорил студент, сам не зная, зачем он так говорит, и тут же и сам опустил перед Пизонским на колени.

– И ныне, Ваня, и ныне? – говорил Пизонский, не поднимаясь с колен и тряся братовы руки.

– И ныне, – отвечал, махая головою, студент.

– И во веки?

– И во веки! во веки веков! – крикнул Пуговкин и с теплыми слезами радости весело бросился Пизонскому на шею.

– Аминь! – решили они оба разом, стоя друг перед другом на коленях и в искренних рукопожатиях завершая свой союз на служение двум далеким сиротам. И союз этот был заключен, и едва ли хотя одна из зал советов и конференций была освещена таким искренним союзом, какой был совершен в этой крошечной студентской комнатке двумя этими неимущими людьми, на коленях подававшими друг другу руки на союзное служение двум совершенно бесприютным и беспомощным сиротам. Здесь не одна, а разом две вдовицы приносили свои лепты в сиротскую корвану. Лишь только был заключен этот союз, счастливый и торжествующий Пизонский тотчас же и начал собираться в обратный путь. Удержать его в Москве хоть на один лишний день не было никакой возможности.

– Нет, – говорил он своему расстроенному союзнику, –

нет, пташки мои дома, там плачут; нет, я только к тебе и шел на одну минутку; – и он настоял на своем и на другой же день пошел опять в обратный путь бодро, постукивая своей длинной палкой и нетерпеливо подергивая своим кривым носом.

## ХII. Лекарь Пуговкин

Тем же летом студент Пуговкин окончил курс, переменялся местом с бывшим врачом Старого Города и явился на помощь к Пизонскому. Иван Ильич Пуговкин был человек добрый и благородный, но весьма недалекий и склонный более всего жить целый век «в эмпириях». Его всегда можно было подбить на всякое доброе дело, но нельзя было научить доделать ни одного дела. Он был неимоверно тороплив и прежде, чем вдумывался во что-нибудь, уже получал уверенность, что *он* это уже понимает; прежде чем брался за дело, он чувствовал, что оно уже делается. Кончил курс он кое-как, но был о своих познаниях мнения самого высокого. Он питал страсть ко всему *особенному*. Ни учиться, ни жить как все люди он не мог. Этим он был известен еще в университете.

– Я все это лучше знаю! Сто тысяч раз лучше знаю! – твердил он, с гордым презрением отворачиваясь от какого-нибудь препарата, который ему хотел объяснить кто-нибудь из товарищей.

– Да говорят же вам, что я еще как материно молоко со-

сал, так я знал это! – кричал он, замечая, что кто-нибудь сомневался в его знании.

Когда такие выходки Пуговкина возбуждали всеобщий невольный смех, он краснел, но не каялся, а, стараясь отшутиться, говорил:

– Пойдите-ка смеяться-то, потому что все это еще не очень-то смешно; а я еще сто сорок семь тысяч раз смешней этого вам могу сказать.

При такой выходке все присутствовавшие обыкновенно смеялись еще более, и Пуговкин, радуясь, что ему никто не противоречит, уходил спокойно, унося за собою всякий день все более и более укреплявшуюся репутацию шута. Так лжемствуя и фантазируя, он едва-едва кое-как поймал степень лекаря и получил место городского врача в Старом Городе. В Старом Городе был уездный лекарь, врач очень сведущий и хороший практик, перед которым неопытный и хвастливый Пуговкин во всяком другом месте был бы ничто; но Старый Город опроверг все эти предположения насчет своих отношений к Пуговкину. Он приютил его, дал ему хлеба и соли и добрую хатку в зеленом удолю Гремучего верха.

Сила, обратившая к Пуговкину сердца города, заключалась, во-первых, в открытости его доброго нрава, в его всегдашней веселой беспечности, в его русском происхождении, а также в тупом невежестве Старого Города и в его ненависти к немцам. А ко всему этому, как выражался Пизонский, – и Господь помогал Ивану Ильичу на сиротскую долю.

Действительно, не успел Пуговкин приехать в Старый Город, которому Пизонский давно уже толковал о скором прибытии «братца», как для него очистилась ступень к славе и известности. Иван Ильич Пуговкин подъезжал к Старому Городу в то время, как там умирала голова теща, женщина старая, сырая, богомольная и обжорливая. Давно обреченная на смерть в случае диетической невоздержности, она разговелась жирной ветчиной и почувствовала приближение своего смертного часа. Семейство, забыв свою староверческую ненависть к медицине, послало, против воли умирающей, за лекарем, немцем. Пришел немец, посмотрел на больную, долго щупал ее живот и стал аскультировать. Задыхавшаяся старуха злилась, что нарушают тишину ее мирной кончины. С грозным недоумением она смотрела, как лекарь ползает своею щекою по ее груди и все собиралась с силами сказать ему крепкое слово; но силы этой не было, и старуха молчала. Да не суждено, однако, было нетерпеливой старухе отойти от скандала. Желая заставить больную поглубже вздохнуть, немец уложил на ее груди свою голову и сказал:

– А ну теперь, хорошенько издохни! – Старуха не выдержала; она тихо в три приема подняла с постели свою полупарализованную руку и дала лекарю наотмашь довольно звонкую оплеуху.

Голова заплатил обиженному старухою немцу сто рублей и послал за только что приехавшим Пуговкиным. Иван Ильич и переодеваться даже не стал; лохматый и нечесан-

ный, как был в пропыленном дорожном пальто, так он и поехал на головиной таратайке.

Войдя, раскланиваясь, в комнату, где лежала старуха, он тихо придвинул к ее кровати стул и взял было ее за руку, но больная сухо отдернула эту руку и прохрипела:

– Перекрестил бы, супостат, прежде лоб-то свой!.. ты ведь русский.

– Русский, русский, – заговорил, нимало не обидясь, Пуговкин и, перекрестившись три раза перед иконою, сказал: – Ну, чем же мы будем лечиться?

– Это уж твое дело знать, чем ты меня морить будешь, – отвечала больная, у которой негодование приподняло упавшие силы.

– Маменька очень рассердившись, – вмешалась жена головы. – Лекарь-немец приходил, да маменька их не поняла.

Головы жена потихоньку рассказала Пуговкину, в чем было дело. Иван Ильич так и залился смехом.

– А ты не хохочи здесь как жеребец, – остановила его старуха.

– Да вы бы, маменька, – весело заговорил Пуговкин, – вы бы сказали ему: попробуй, мол, ты сам, немец, издохни.

Старуха закусила пересмягшую губу.

– А я вам вот что скажу; ничем вас не надо лечить, – продолжал, наклоняясь к ней, Пуговкин.

Умиряющая поманила пальцем дочь, достала стынущею рукою из поданной ей шкатулки перстень с изумрудом и,

ткнув его Пуговкину, сказала:

– На тебе за это.

Пуговкин было – стал отказываться.

– Это за то тебе, что ты меня не беспокоил, – добавила старуха, бросив ему на колени перстень.

На другой день старухе как будто полегчало; она сама потребовала к себе Пуговкина.

– Поговори-ка здесь при мне, – велела она ему, усаживая его возле себя на скамеечке.

Пуговкин рассмеялся и спросил, о чем ему говорить.

– Да не со мной говори, а с молодыми; а я слушать буду, – отвечала старуха.

И она долго с удовольствием слушала, как новый лекарь разговаривал с молодыми, сама велела девке принести им сюда орехов и через час отослала их от себя, а завтра опять наказала Пуговкину приходить, и Пуговкин опять пришел, и опять все им были бесконечно довольны и все решили, что это просто клад, а не человек: все знает, везде был, все видел, но простоты не гнушается, обо всем говорит и шутит и орехами забавляется.

Успех Пуговкина у умиравшей старухи на этом не кончился. Во-первых, по городу пронесся слух о его простоте и познаниях и возбудил к нему общую симпатию, а во-вторых, больная старуха, которой он не помешал умереть через неделю после начала их знакомства, кончаясь, наказала отдать Пуговкину с сиротами ее старенький домик, дав-



но без всякой пользы стоявший на Гремяке. Так совершенно неожиданно Пуговкин сделался оседлым обывателем Старого Города и поселился с сиротками в полученном им в подарок домике. Для приобретения этого домика лекарь Пуговкин решительно не употреблял никаких мер и получил его совершенным сюрпризом. Он утешал старуху, вовсе не думая о ее утешении и не заботясь ни о ее подарках, ни о своих сиротах, все еще остававшихся в это время на попечении Пизонского. Он так себе забавлялся и разговаривал; но Константин Ионыч видел в этом огромнейшую ловкость братца и несказанно ему удивлялся.

Первым делом Пуговкина, как только он устроился в своем доме, было закрепление этого дома за сиротами Глафирой и Неонилой Набоковыми.

– Погоди, – говорил ему голова, – погоди, еще какое почтение от них увидишь; тогда еще успеешь наградить.

Пизонский замер при этих словах, со страхом ожидая, что на них ответит «братец», но братец только замотал своей рукой, головой и отвечал голове: это нельзя, этого, Борис Дмитрич, никак невозможно; за это сейчас под суд меня могут отдать.

– Полно, пожалуйста, кто тебя за твое добро под суд может отдать? – рассуждал голова.

– Да всякий же может отдать; хоть вот и вы так можете меня за это к плетям приговорить, потому что это выходит все равно, что я буду вор.

– Туне полученное, туне и дается, – робко поддержал брата Пизонский.

– Даром, даром отдаю, – завершил Пуговкин и, никого не слушая, так закрепил за девочками подаренный ему умершей старухой дешевый домик с садом и довольно большим огородцем.

Окончив это дело, Пуговкин заговорил об устройстве давно пустой городской больницы.

– Я ее сделаю совсем по-новому, совсем по-новому, как нигде еще нет, – рассказывал он всем, с кем перезнакомился в Старом Городе; но проходили дни, месяцы; ушел год, а к устройству больницы не делалось ни одного шага, и доныне в ней по-прежнему живет тот же сторож, занимающийся вязанием из клоповника веников, да та же захожая старуха, просыпающаяся только для того, чтобы впасть в обморок и заснуть снова.

Перезнакомясь с праздными и непраздными людьми Старого Города, Пуговкин только и делал, что шатался из дома в дом; всех он удивлял выходками своей исполинской фантазии, всех поправлял, со всеми спорил и всем очень нравился за свой открытый нрав и вечную веселость. Деловые, занятые люди отдыхали с ним, а люди праздные любили Пуговкина за то, что он был еще празднее их и всегда доставлял возможность проводить время, переливая из пустого в порожнее. Лекарь Пуговкин решительно ничем не занимался. Одно единственное дело, о котором он еще кое-когда вспо-

минал, это было ученье сирот Милочки и Глаши, потому что Пизонский, переведя девочек с острова в дом своего ученого брата, совсем устранился от всякого вмешательства в их дальнейшее воспитание. На несчастье детей Пизонский находился под безграничным обаянием перед великими достоинствами своего брата. Он не только почитал Пуговкина самым добрым и самым умнейшим человеком во всей подсолнечной, но и смотрел на него с благоговением и ни за что на свете не решился бы ему в чем бы то ни было противоречить. – «Он, матинька, ученый», – говорил Константин Ионыч, когда ему рассказывали о какой-нибудь колоссальной нелепости, сказанной или совершенной Пуговкиным. – «Мы не можем рассуждать, зачем он так по-ученому говорит, потому что нам этого знать неоткуда».

### **ХIII. История с громобоем**

Каждый вечер, пошабашив работу, Пизонский обыкновенно являлся на минуту на Гремяк и внушал Глаше и Милочке, чтобы они как можно больше любили Ивана Ильича, потому что он для них всем пожертвовал. Девочки слушали это довольно равнодушно: они любили обоих дядей, как им любилось, не входя в разбор принесенных ими жертв. Так и уходили годы; девушки росли у Пуговкина на полной воле и свободе полными господами своих поступков и, наконец, стали уже не девочками, а девицами. Обе они выравни-

лись в довольно стройных девушек, но поразительной красоты не было ни в одной из них. Глаша была высока, стройна, с изящно выгибавшеюся шейкой, крошечной ручкой, с фарфоровым личиком и самыми тонкими, почти неуловимыми чертами. Всего оригинальнее у нее были ее очень хорошие, но совершенно китайские глаза с узенькими косыми прорезами; ее нежное личико и легонькая фигурка как нельзя более напоминали дорогую фарфоровую куколку. Младшая сестра Неонила, или, как ее называли все – «Милочка», была чисто русская девушка: роста среднего, круглолицая, полненькая, свеженькая, с умным выражением в глубоких коричневых глазах и с тихой походкой «корабликом». Обе сестры были брюнетки, что и дало повод прозвать их в детстве «жучками». Характеры воспитанниц Пизонского, выросших на полной свободе у Пуговкина, были совершенно различны: они обе могли дать большой материал для спора, есть ли характер свойство врожденное или прививное, образуемое средою и воспитанием. Несмотря на то, что обе девочки выросли при совершенно одинаковых условиях, Глафира была болезненно чувствительна, вспыльчива, нерешительна и нетерпелива; она не умела скрывать ничего и очень рано прослыла дерзкою. Еще в самом раннем своем детстве она отличалась необузданною вспыльчивостью и нетерпеливостью и, кроме того, она была неблагодарна. Она, положим, очень любила дядю Пизонского, любила и Пуговкина, любила и Милочку и проживавшую у них старуху Еврасьевну; но

вся любовь Глаши ко всем этим лицам жила в ее сердце до первого нанесенного ей укола. Оскорбленная Глаша не владела собою, не стеснялась ни состраданием, ни благодарностью и сделала под влиянием такого нетерпения один великий шаг в своей жизни. Характер Глаши в первый раз оказался серьезным образом по поводу весьма незначительного обстоятельства. Шестнадцатилетняя Глаша, одетая в чистенькое розовое платье, с душистым букетом в руках пришла с сестрою на Троицын день в церковь и стала перед чудотворной иконой. Но только что она ставши успела оправиться, как сюда же вдруг вошла почтмейстерша и сдвинула сироту с ее места. Глаша не выдержала и зашла снова вперед; но тогда ее взяли за плечи и отодвинули назад уже без всякой церемонии. Впервые она поняла, что именно позволяет так обращаться с нею; впервые она поняла тут, что она и сегодня такое же ничто, какое была в то время, когда спала, качаясь, в плетушке за спиною дяди Пизонского. Дяди! а что же это такое ее дяди?.. Девочка задумалась и впервые разъяснила себе, что и они, ее покровители, ее дяди, оба сами слабы и бессильны, оба сами шуты и посмешища.

Девочка думала, думала об этом и плакала, сердилась и спрашивала себя: так это всегда так? Это будет целую жизнь так? И в ответ на эти вопросы молодая головка выводила себе: да, это так; это все будет так; это не может быть иначе, потому, что ты *ничто*, ты нищая.

О, как тяжело становилось бедной сиротке; сколько зло-

бы и ненависти входило в ее молодую душу, ранее срока, ранее времени! С этих пор Глаша ожидала обид и оскорблений отовсюду и начала тщательно избегать всякого столкновения с живым миром, а все читала, читала много, читала без толку и с жадностью неистовой и с пламенной восприимчивостью. Жизнь, окружающая ее, была для нее не жизнь, даже не пролог к жизни, а так, что-то такое, что надо пройти как можно скорее мимо и начать где-то все наново. Впрочем, Глаша была так болезненно настроена видеть во всем покушение оскорбить ее гордость, что она и хорошо делала, избегая всякого сообщества, и единственный раз, когда она изменила своему отшельничеству, обошелся для нее необыкновенно дорого. Уступая просьбам сестры, она один только раз согласилась пойти к очень любимшей обеих девочек городничихе, и здесь, сидя за обеденным столом, слышала, как та же самая почтмейстерша говорила одной своей полной дочери: «Не обжирайся, пожалуйста; тебе слава Богу есть что дома есть, ты не Глашка лекарева». Глашу это передернуло, она судорожно схватила свою тарелку, сильно ударила ее об край стола, и когда рассыпавшиеся черепки зазвенели по полу, она нервно вскочила с дрожащими губами из-за стола, перебежала комнату и бросилась, не слыша под собою земли, домой. Возвратившись в свой бедный домик, Глаша торопливо сорвала с себя полинявшую шелковую косынку и в одном платице выскочила с открытой шейкой на огородик, села с книжкой на лавочку и заплакала.

«И зачем это только рождаются на свет бедные люди!» – думала, плачучи, Глаша. «Живи затем, чтобы всякий над тобой мудрил, да обижал тебя... Не хочу, не хочу я так жить... не хочу! да и не буду», – добавила она с сердцем и начала, насупив брови, глядеть в открытую книгу; но книга не могла заполнить ее внимания. Все ее помыслы были устремлены на одно: как, какими средствами вырваться из своего положения?

«И какие это были времена счастливые, – мечтала Глаша, – когда можно было хоть продать свою душу, а нынче нельзя и этого сделать. Никто, никто, ни один дьявол не купит души моей, хоть бы я и захотела ему продать ее. Где это место, на котором вызывал его Громобой? как? как его вызвать?.. Ну, вот я зову его: поди! поди сюда ко мне!» И Глаша, сделав нетерпеливое движение, подняла глаза и, еще раз выкрикнув со слезами: «поди, я зову тебя!» – вся вздрогнула: по тот бок низенького частокола в соседнем огороде стоял невзрачный молодой человек лет двадцати двух с тупым румяным лицом и щелушил подсолнух. Это был круглый сирота, сын умерших богатых купцов Маслюхиных. Глаша едва знала этого человека и никогда о нем не думала. Теперь она посмотрела на него с минуту, и в голове ее вдруг созрела самая странная мысль, которая овладела ею с быстротою молоньи и не давала ей ни мгновенья опомниться.

– Подите-ка сюда! – крикнула она дерзко и сердито Маслюхину.

Молодой купец бросил из рук подсолнух и спросил:

– Вы это мне изволите говорить?

– Да, вам. Подите сюда, я вам что-то скажу! – позвала его еще настойчивее, кивнув пальцем, Глаша.

Маслюхин сделал несколько шагов и снова стал глядеть удивленными глазами на заплаканную девушку.

– Вас как зовут? – продолжала расспрашивать его без всякой церемонии Глаша.

– Митрофан Михайлов-с.

– Это кто у вас все на гармонии играет?

– Это я играю-с, – отвечал Маслюхин.

– Зачем же вы все на дворе играете?

Маслюхин подумал и отвечал:

– У нас в комнатах скучно.

– Какие глупости! Вы бы книги читали... или вы книг, я думаю, не любите?

Маслюхин затруднялся ответом.

– У вас нет дома книг?

– Нет-с, книг нету.

– И в гости вы не ходите?

– И в гости тоже не хожу-с.

– Ну, что же вы делаете?

– Ничего-с не делаю; играю... а там после обедаем...

– Вот отлично! – Глаша сквозь слезы засмеялась и спросила:

– Так все и обедаете?



– Всякий день обедаем.

– И у вас всегда есть аппетит?

– Чего-с?

– Аппетит? аппетит у вас есть?

– Нет-с, нету, – отвечал Маслюхин.

– Вы без аппетита едите?

– Да-с; так просто ем.

– Гм! Да вы преинтересный; вам, должно быть, всегда весело.

– Ничего-с.

Глаша засмеялась и сказала:

– А вы бы вот что: вы бы женились на хорошей девушке, на умной, вот бы вам тогда в комнатах и скучно не было.

– Дядинька Борис Иваныч и то говорили, что будут теперь меня скоро женить.

– Это вас-то будут женить?

– Да-с.

– На ком же он вас будет женить?

– Не знаю-с.

– Что? не знаете? как не знаете? да что вы там стоите, – идите сюда поближе станьте.

Маслюхин подошел к самому частоколу.

– А вам никто не нравится? – спросила Глаша.

– Мне все равно, – отвечал Маслюхин.

– Все равно?

– Да-с.

– На ком вам ни жениться, вам все равно!

– Да-с, мне все равно.

Глаша опять рассмеялась и, укусив нетерпеливо ноготок на своем тоненьком пальчике, проговорила:

– Как же это *все равно*?

Маслюхин замялся.

– Да что вы там все стоите? Перелезайте сюда к нам на огород. Перелезайте смело, наших никого дома нет.

Маслюхин тяжело перелез боровком через плетень и, пристально глядя себе под ноги, подошел и остановился перед своей повелительницей.

– Ну-с? – проговорила, морща лоб и волнуясь, Глаша. – Так вы уж вот что: вы лучше на мне женитесь.

Маслюхин смутился и, не сводя с нее глаз, переминался на одном месте.

– Да уж нечего смотреть, конечно, лучше на мне, чем на другой. Дядя вам ведь дуру какую-нибудь выберет. Уж я знаю, какую он вам выберет... непременно дуру! И опять вам с нею будет скучно. Что, неправду я разве говорю? Непременно это так будет. А я вам буду книги читать. Слышите вы? А? да что же вы молчите? да что же вы молчите-то? – вскрикнула девушка, потерявши всякое терпение, и, вскочив на ноги, взяла Маслюхина за рукав его сюртука и заговорила: – Дура ведь вас не будет любить. Понимаете, не будет, ни за что не будет, вы так и будете все вот как теперь, на гармонии играть, а я... – Она понизила голос до тихого шепота и, не

смотря на Маслюхина, лепетала скороговоркой: – Я вас буду любить; да... да... очень буду любить... Вы хотите, чтобы я вас любила? А? Правда, хотите?

– Как же-с, – ответил, осклабяясь, Маслюхин.

– Ну то-то ж и есть, – зачастила, все более супясь, Глаша. – А я того... вы мне нравитесь...

– А чем я столь нравлюсь-с? – спросил, осклабяясь, Маслюхин.

– Ну... вы добрый... да, да, вы добрый и все это... ну, так вы... вы вот что... вы вот что, – продолжала, дергая его рукою, Глаша: – Вы познакомьтесь с нами!

– Да я и с большим даже удовольствием, – отвечал Маслюхин.

– Да; вы завтра же познакомьтесь; только непременно завтра, а теперь ступайте. Слышите: ступайте теперь, ступайте, – повторила она, отпихивая его от себя рукою.

Маслюхин поклонился и пошел к частоколу. Глаша посмотрела ему вслед и в раздумьи позвала:

– Пойдите! Пойдите-ка! подите-ка опять сюда! Вы слушайте же: вы так и скажите и своим, и моему дяде, что я вам очень нравлюсь.

– Очень хорошо-с; я это скажу, – отвечал Маслюхин.

– Скажите, что вы кроме меня ни на ком не женитесь, слышите?.. А я вас после того полюблю... как вы женитесь-то на мне – понимаете? Я полюблю вас тогда, – торопливо закончила она, опять нетерпеливо заворачивая его от себя; но

только что он сделал от нее три, четыре шага, Глаша опять крикнула: – И то...

Маслюхин остановился.

– Что это я, бишь, хотела вам еще сказать, – рассуждала она, оглядываясь кругом по огородам. – Да, зайдите-ка вон туда скорее за рябину. Да скорее, скорее идите.

– Зачем-с? – осведомился, конфузясь, Маслюхин.

– Я вас там поцалую.

Маслюхин неловкими шагами пошел за старую рябину. Глаша обежала дерево с другой стороны, чуть прикоснувшись своими свежими устами к окрашенным черным подсолнухом губам Маслюхина и сказала ему:

– Ну... так вы же смотрите!

– Не беспокойтесь, – отвечал, убегая, Маслюхин.

Глафира действовала очертя голову; она не ручалась, как это разыграется; она только жаждала перемены своего положения, жаждала этого со всей нетерпеливостью оскорбленной молодой природы и импровизировала себе эту перемену. Пусть это будет худшее; но пусть это будет иное, не то, что гнетет и мучит. Но тем не менее, затеяв игру, она сразу вошла в свою роль и следила за своим делом неотступно. Она знала, что ее партнер дурак и надеялась только на себя. Под тою же рябиною, под которой она бросила Маслюхину свой поцалуй, она ежедневно давала ему дальнейшие инструкции, как он должен действовать, и отбирала от него отчет в исполнении прежних наставлений. При всех этих свиданиях Мас-

люхин не пользовался от своей невесты ни одной ласкою, ни одним знаком внимания и ни разу не был счастлив настолько, как в свое первое свидание; Глаша его только учила и после урока подавала ему небрежно свою руку, говоря:

– Ну, целуйте мою руку и помните, что я вам сказала, а то я за вас не пойду.

Маслюхин души не слышал в своей невесте, и через два месяца Глаша, несмотря на все противодействия жениховой родни, вышла за него замуж к крайней зависти всех старгородских невест. Дяди Глаши, Пуговкин и Пизонский, не говорили ей ни слова *ни за, ни против* этого брака и дали на него свое согласие, которого, впрочем, Глаша не очень и спрашивала. Милочка тоже молчала во все время глашиного сватанья; она знала все пружины, которые подвигали ее сестру к этому браку, но не говорила ей ни слова. Раз только она заметила ей, что этот Маслюхин уж очень большой дурак и презабавный; но Глаша резко отвечала ей, что это не ее дело и что Маслюхин даже вовсе и не дурак, а если чем забавен, так уж наверно нисколько не забавнее ее дядей, Пуговкина да Пизонского. Милу очень обидело это сравнение, и она, сделав в ответ сестре презрительную губку, уже никогда больше о ее замужестве не заговаривала.

Так и вышла Глафира Набокова замуж за ничтожество, имевшее сто тысяч наследственного капитала и называвшееся, ради надетого на него креста, человеческим именем Митрофана Маслюхина. Бодро и настойчиво добивалась она это-

го счастья; но когда оно уже было почти достигнуто, когда эта торба с деньгами была возглашена ее мужем, человеческая гордость и эстетическое чувство женщины проснулись в Глаше. Мысль о будущем была для нее как страшный сон, в котором снятся собственные похороны. Она старалась искать оправдания собственному замужеству в своем тяжелом прошлом, но перед ней возникал вопрос: а отчего же, однако, Мила этого не сделала?

– Мила! скажи мне, отчего ты всегда такая счастливая? – спрашивает она занятую делом сестру.

– Ну вот, – отвечает, улыбаясь, Мила. – А ты чем несчастлива?

– Это оттого, что в тебе чувств нет, оттого ты такая.

– Ну да.

– Конечно, деревянная; вот как стол деревянная, – скажет, рассердившись, Глаша и рассердясь заплачет. Нет, лучше взять книгу, там больше сочувствий; но и старая детская книга, старая хрестоматия, и та разворачивается ей на странице, где первая строка говорит ей: «Дряннь тот, кто с дрянню связывается». И что же это такое: как же еще связываться?.. не на дружбу; не на товарищество, а... на совет, на любовь, на рождение общих детей... детей дурака, детей, которые будут расти в сугубый срам и поношение; детей, которые, как математическая прогрессия, в бесконечно продолженном виде станут матери живым укором; детей, один вид которых заставит целый век проклипать свою робость перед

быстро текущими бедами золотого, всезабывающего молодого века. Ужасно! Страшно!

– Скорее уснуть бы! Пусть хоть во сне снится радость! – И Глаша уснет, но ей радость не снится, и во сне перед очами ее стоит тот же упрек и рисуются те же картины постыдного сочетания.

Глаша проснется, и в ее памяти является против воли все, что она читала про тяжкие доли. Их много, но тяжче всех на свете три из них:

То первая доля с рабом повенчаться,  
Вторая быть матерью сына раба,  
А третья до гроба рабу покоряться.

Все эти три тяжкие доли теперь выпадали ей на ее пай, и ей еще было время отбросить их от себя, как честный человек отбрасывает от себя подкупную плату, но она решилась и с рабом повенчаться; решилась быть и матерью сыну раба; но и твердо решила зато, что не будет рабу покоряться.

Старый Город, по поводу этого решения, видел очень нарядную свадьбу Глафиры и будет свидетелем других таинств ее судьбы и жизни.

## **XIV. С рабом обвенчалась**

Сама свадьба Глафиры, несмотря на всю ее пышность, не пророчила молодым никакого счастья. Невесту сердечный

червяк доедал под корень.

Увидав, как сестра ласково чокнулась надпитым бокалом с ее мужем и ласково пожелала обоим им счастья, Глаша не выдержала и заплакала. Она взглянула на Маслохина, который сидел рядом с ней, поворачивая свою круглую голову, в белых полисонах, и крутил за щекою язык; силы ее не стало оставаться за этим столом. Ей вспомнилось, как он так же бессмысленно сидел у них в день своего сговора и так же ворочал языком за скулою, а там, вдалеке, у двери, не сводя с него глаз, стояла Мила; как эта Мила тогда остановила пробегавшую мимо нее Глашу за рукав и молча указала ей глазами на жвачку отрывающего жениха.

– Что? – спросила ее в ту минуту с нетерпением Глаша.

– Это будет твой *муж*, – отвечала тихо, но с немым ужасом Мила.

И вот он теперь действительно ее муж!..

– Мила, Мила! – воскликнула Глафира, схватив за обе руки сестру, которая, стоя в крытой стеклянной галерейке, тщательно выкладывала из жестяных форм на блюдо заливную рыбу. – Мила, друг мой!.. Милочка!

– Что ты, что ты, Глаша?

– Он мне противен... гадок... ненавистен...

– Полно, Глаша, разве мало так выходят, – отвечала Мила тихим и спокойным тоном, которого всего менее ожидала Маслохина и который сразу облегчал до возможной степени ее душевные терзания. При одном воспоминании о том, что



были, есть и будут другие женщины, несущие такое же горе, ей уже становилось менее ужасным ее собственное горе.

– Ты бы меня хоть побранила, – заговорила она, оправляясь и цалуя белые плечики Милы.

– За что, Глаша? Не от радости ты за него вышла.

– Да, да, мой друг, это правда.

– Ну, то-то и есть; не у всех, в самом деле, достанет силы все переносить... И ты... что уж теперь делать?.. ты действуй на него. Он мягкий, добрый, ты много можешь сделать. Горевать – это самое худшее.

Глаше этот разговор с сестрой дал много силы на перенесение ее возмутительного нового положения. Она обманывала себя и утешалась, что будет *действовать*, что она сделает из жвачного Маслюхина что-то сносное, непостыдное миру, что он преобразится и своим преобразованием удостоит самое ее, Глашу, доброго ответа на страшном судище Христовом, в пришествие которого она всегда верила.

Впечатлительную женщину это утешило: это дало ей по крайней мере средство себя обманывать; а это для нее было необходимо.

## **XV. И матерью сделалась детям раба**

В самый короткий промежуток времени после своей свадьбы Глафира перешла целый ряд превращений, в которых не всегда узнавала самое себя и которыми удивляла как нель-

зя более всех ее окружающих. Она была сначала дней десять очень скучна и печальна; расстроенная, приходила она к сестре и к дяде, говорила мало и ни на что не жаловалась. Но прошло еще несколько дней, и она стала заговаривать о своей судьбе.

– Что ж, – говорила она сестре. – Я отлично знаю, что я никогда не буду счастлива, что я уже погубила себя навеки, но мне не было другого спасения.

Милочка выслушивала эти жалобы, не отвечая на них ни слова, и даже будто пропускала их мимо ушей, что до весьма сильной степени сердило и раздражало нетерпеливую Глашу. Однако прошел самый короткий срок, и оказалось, что Мила знала, почему она молчит и не знает никаких сочувствий, ибо как только на эти жалобы отозвались ее дяди, так Глафира переменяла тон и сказала:

– Ну, да уж все же мне теперь лучше, как прежде: по крайней мере, я теперь ни от кого ничего не терплю и не выслушиваю.

И Пизонский, и Пуговкин, слышавшие эти слова, ничего племяннице не отвечали, и она ушла домой, значительно успокоенная и правая в своих собственных глазах. С этих пор она очень долго не показывалась.

В это время с Глашею произошла новая перемена: она посадила мужа с собою в комнате и начала ему начитывать все, что она любила, что знала и в чем находила услаждение для своей тоски и пищу для своего любопытства.

Маслюхина это не занимало ни на волос; но он сидел перед женою и слушал.

– Что ж, ты своего чурилку выучила чему-нибудь? – спросил как-то Глашу Пуговкин.

Глаша обиделась.

– Что это такое за название *чурилка*? – отвечала она дяде. – Я думаю, у него имя есть.

Пуговкин сконфузился, а Пизонский помирил эту сцену, сказав:

– Это он, дитя, шутит, шутит, голубка, шутит.

– Да, но это, однако, довольно глупо, – отвечала Глаша и перестала говорить с дядями.

Через несколько времени Пуговкин опять провинился: он застал Глашу с мужем после обеда в густом малиннике и запел:

И вишню румяну  
В жару раздавил.

Глаша выскочила на этот голос из своей засады и без обидных слов сказала с азартом:

– Ах дядя, когда б вы знали, как это глупо!

– Да что ж глупо, когда это Пушкина! – отвечал Пуговкин.

– Хоть бы Голушкина, так все-таки очень глупо. Странность тоже! – продолжала она, фыркнув. – Что ж тут такое вы видите, что я с мужем была в малине.

– Да ничего же я, ничего и не видел, – отвечал, смеясь, Пуговкин. – А я чувствовал, понимаете меня, чувствовал.

Глафира дождалась, пока вышел из малины Маслюхин, взяла его при дяде под руку и пошла с ним к дому.

Ни Пуговкин, ни Мила еще никогда не видали между ними такого согласия: это даже похоже было на любовь, хотя это, конечно, была не любовь.

В эти счастливые дни Глафира начала считать себя героиней. Она беспрестанно делала себе комплименты за то, что исторгла себя из зависимого и, по ее мнению, униженного состояния, и о сестре своей, сносившей твердо и спокойно свою неблестящую долю, говорила не иначе, как об отчаянной трусихе. Глафире теперь доставляло невыразимое удовольствие проводить параллели между собою и сестрою и предсказывать Миле, что она непременно целый век проживет, как ей выпадет, и сама для себя никогда ничего не делает. Мила об этом или вовсе не спорила, или шутливо отвечала:

– Ну, слава богу, что ты зато для себя много сделала.

– Не много, а сколько можно было.

– Ну да; ну и прекрасно.

Младшая племянница Пизонского вообще никогда не придавала много значения сестриным выводам и не отстаивала себе в спорах с нею последнего слова, а потому новая роль Глафиры нимало не изменила их отношений. К году после того, как Глаша с рабом повенчалась, она успела сделать-

ся матерью сына раба, но рабу действительно она не покорилась, или, лучше сказать, и покорилась, и не покорилась. У нее явилось много марсова духа, и она к этому времени уже поставила себя с мужем на военное положение. Правда, что у нее не было такта, нужного полководцу, и она не победила своего неприятеля ни в одном генеральном сражении, но зато сражалась с ним беспрестанно и в партизанских стычках вела свои дела с успехом. Целый год они с Маслюхиным то ссорились, то мирились, но второй год зато у них шел уже несколько ровнее: в этот год они только ссорились и не мирились вовсе, и в этот год у них родился второй сын. Третий год их жизни шел еще глаже: супруги в течение этого года совсем друг на друга не глядели: Глафира потому, что она не хотела глядеть на мужа, а муж потому, что он не смел на нее глядеть, не рискуя поднятием семейного карамболя; но и в этот год, как и в прежние годы, у Глафиры опять родился третий сын раба, и затем в семье Маслюхиных наступила полоса прочно организованного семейного ада. Наблюдая жизнь этих молодых супругов, сам Соломон не разобрал бы, кто больше терпел: жена ли, несшая тяжелое бремя присутствия невыносимого глупца мужа, или глупец муж, решительно недоумевавший, что такое происходит в его доме? что нужно его молодой жене и что мешает ей жить, как живут другие? Четвертое лето супружеской жизни застало Маслюхиных опять в новых отношениях: Митрофан стал отлынивать от дома, а Глаша несколько поумнее взялась за браз-

ды правления и сосредоточила в своих руках всю домашнюю власть. Положение Глаши в доме становилось независимее; а с тем вместе положение Митроши падало. Он более не был ни мужем своей жены, ни хозяином своему дому. На его стороне не было никого: умные люди не любили его, как дурака, глупые люди не любили его за то, что он женился на Глаше, которую они за ее книжность почитали умною. У него было только два прибежища: первое – бакша Пизонского, где Маслюхин мог сидеть и со скуки вырезать ножом из огурцов крестики и ведра; второе – свояченицын дом, или, лучше сказать, свояченицына комната. Мила и Пизонский не обижали дурака. Пуговкин тоже не оскорблял его, даже не пропускал случая рассмешить его и дал ему ласкательное имя «Фофан Фалелеич». Но, несмотря на то, что Пуговкин подтрунивал иногда над Маслюхиным, у него все-таки были и мягкости, которых Фофан Фалелеич не встречал у себя дома. Пуговкин, впрочем, относился к этому своему недалекому родственнику лучше многих людей, потому что он не стеснялся презрительными отзывами о нем Глаши и никогда не изменял своего обычного с ним обращения.

И вешее сердце сказала дурачку, куда ему преклонить свою скорбную головушку. Во все тяжкие минуты своей жизни он неотразимо стремился в комнату к Миле или еще все-го чаще на бакшу к Пизонскому, где целые дни слонялся с места на место и сверлил из огурцов ведрышки, а со второго лета своего супружества даже нередко оставался там и

ночевать. Улегшись с Пизонским на мягкой вершине сторожевого шалаша и уставя глаза в синее ночное небо, Маслоухин беспрестанно вздыхал и не спал до самого света. Другой раз он даже не утерпчивал, ему нестерпимо было лежать, он вставал и бродил по блестящему росой огороду или садился на бережку и бил себе об лоб или о подбородок колпачки поддорожного щелкунчика. Это было любимое его занятие, к которому он обращался во все свои тяжелые минуты; а их у него было немало, и он им не видел никакого предела. Он любил Глафиру; он не понимал, что значит любить, но готов был отдать за нее свободу, жизнь, все, что хотите, лишь бы она обняла его и поцаловала, и между тем проводил свои ночи только глядя через реку на свое собственное жилище. Уснув на заре и проспав до солнечного припека, он с новым пучком щелкунчика перекочевывал в другое свое убежище, в тихую комнату Милы. Приходил сюда Маслоухин обыкновенно тихо, зазирая вперед, нет ли здесь его жены; садился к столику, вздыхал, вздыхал долго, наводя и на терпеливую Милу несносное утомление своими вздохами, и никогда он не умел ни о чем заговорить, ни рассказать, о чем он вздыхал. Можно было, правда, расшевелить Маслоухина и заставить его хвастаться, очень смешно, нескончаемо глупо хвастаться, но ни Мила, ни Пизонский, конечно, никогда не предавались этому развлечению. Не стесняя Маслоухина никакими речами, Мила обыкновенно спешила спросить: не хочет ли он тыквенной каши с маслом?

Маслюхин всегда хотел что-нибудь есть, и особенно тыквенную кашу с маслом, и Мила всегда нарочно приготавливала для него этого корму.

– Вы с дядей, кажется, на зло мне раскармливаете этого уroda, – говорила с неудовольствием Глаша, заставляя у сестры своего мужа за чашкой дымящейся каши. – Ты бы, болван, на брюхо-то свое посмотрел, – обращалась она к своему мужу.

Маслюхин вздыхал, покидая недоеденную кашу, нехотя поднимался со стула и тянул на бакшу сверлить свои огуречные ведра. Иногда, проходя мимо своего двора, он вдруг останавливался и давал приказания переставить с места на место старые колья или кричал что-нибудь на детей; но ни рабочие, ни дети его не слушались. Были прежде у него между домочадцами друзья, но и их холопская дружба была рабски холодна и невыразительна.

– Я совсем тебя с дядей не понимаю, что это вы его у себя держите? – начинала по уходе мужа Маслюхина.

– Ну, вот... Еще что выдумай. Кто его держит? – отвечала сестре немного резко Милочка.

– А зачем он тут сидит?

– А ты спроси его, зачем он сидит? Почему я знаю, зачем он сидит? Сиденье есть, он и сидит.

– А дома у него сиденья нет? Мог бы делом каким-нибудь заниматься.

– Каким? каким делом он мог бы заниматься? – возразила



с нетерпеливою гримасой Мила.

– Да я знаю, что тебе лишь бы спорить.

– Нечего мне спорить; а каким же делом он может заниматься? Ты сама очень хорошо знаешь, что ты пустяки это говоришь. Таких дел нет, которыми бы он мог заниматься.

– Купцы по большей части все дураки, а однако ж чем-нибудь занимаются, – заговорила наморщась Глаша. – Или, по крайней мере, пусть же не слоняется, чтоб не видели его, дурака, каждую минуту.

– Спрячь, пожалуйста, спрячь, – отвечала вышедшая на этот раз из терпения Мила. – Нет, мой друг, нечего уж его таить; не яблочко, в карман его не положишь.

– Да, дитя, да, не спрячешь, – поддержал, вздохнув, и Пизонский.

Глаша села к столу, и через минуту ее китайские глазки наполнились крупными слезами, которые несколько секунд дрожали на ресницах и потом быстро бежали ручейками по щекам к нежному, тоненькому подбородку.

– Черт ненавистный! – восклицала она сквозь зубы, доставая из кармана батистовый платок.

– Глаза видели, что покупали, сердиться не на кого, – спокойно отвечала Мила. – Не на кого, да и глупо, никто не виноват.

– Да и здесь не лучше было! наставления целый век слушать!

– Полно, пожалуйста; Господь с тобой: никто тебе не де-

дает никаких наставлений.

– Еще бы! Еще бы я теперь их слушала!

– Ну, так и говорить не о чем.

– Я о том говорю, что хитростей ваших я терпеть не могу; то она сама же первая его называла мне в глаза дураком и говорила, что выносить его не может; а теперь сама вдруг защитницей его сделалась. Не правда, скажешь?

– Нет, правда. Когда ты вздумала выходить замуж, я тебе говорила, что он, по-моему, глуп; а когда ты все-таки вышла за него, мне об этом и говорить более нечего. Он твой муж, а ты моя сестра, и я его принимаю, вот и все.

Глаша так и вспыхнула.

– Пожалуйста, не читай мне своих рацей! – заговорила она, приподымаясь с места. – Муж, муж, муж!.. посмотрим еще, какой у тебя муж будет? посмотрим еще, за кого ты сама выйдешь?

Вспыхивала на этот раз и Мила и чувствовала себя способной сказать сестре очень едкую дерзость, но ограничивалась тем, что говорила: слава богу, что уж за Митрофана Михайлыча не могу выйти.

– А вас, – обращалась непосредственно затем Глаша к Пизонскому, – вас я, дядя, покорно прошу не оставлять его у себя ночевать, я не хочу, чтобы его там на бакше видели.

– Я, дитя мое, его не оставляю; он сам остается, – отвечал кротко Пизонский.

– Извольте посылать его домой.

– И даже не раз посылаю, да нейдет.

– Гоните его долой оттуда.

– О, Господи! да что ж это за несправедливость! – вмешивалась, не утерпев, Мила. – Что же он в самом деле мешает чему-нибудь, что ли, что у дяди переночует? Что мы над ним, опекуны, что ли? И какое тебе-то до этого дело? Да Бог с ним: пусть он себе ночует с дядей, если ему это нравится. Не пойму я тебя, ей-богу! По-моему бы, если ты его так не терпишь, так тебе должно быть все равно. Лучше вот не обижай его хоть при детях, по крайней мере; это гораздо лучше будет, а он уж какой зародился, такой уж и будет: перебьет нынешний год все шелкунчики, дождется на будущий год новых и опять будет шелкать.

– Это я без вас знаю, – отвечала нетерпеливо Глаша и, не сказав ни одного прощального слова ни сестре, ни дяде, уходила домой, беспрестанно наступая на перед своего длинного платья. Этот несчастный подол, попадая под ноги Глаши, усиливал ее раздражение до последней степени: ненависть ее к мужу росла, как сказочный богатырь, и касалась своею чудовищной головой до самого неба. Глафира искала случая перенести эту ненависть на всех, кто попадался ей на глаза, и фиалом, в который изливалось это беснование, чаще всего были дети. Служа живым напоминанием минувших отношений к жалчайшему существу, которого она теперь так сильно стыдилась, ее собственные дети становились ей ненавистны, потому что самый факт их рождения служил ей укором,

напоминал ей о минутах самых отвратительных и лишал ее права сказать, что она уберегла что-нибудь, что-нибудь сохранила ненарушимым и неоскверненным.

– Несите их вон с глаз моих! – нервно кричала иступленная женщина, выгоняя из комнаты встречающих ее нянек и, бросаясь после того на постель, рыдала страшно, как бесноватая, со стоном, с каким-то страшным, пугающим весь дом визгом и судорогами в горле. Потом она соскакивала с постели, бросалась перед образом на колена и молилась долго, жарко, сама не зная о чем. Она спешила читать как можно скорее одну за другою страницы акафистов и, нередко разбитая и изнеможенная, засыпала, лежа перед озаренным лампадой киотом, лепеча и в дремоте: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя!»

Но христианского упования и святой силы терпения не было в сердце Глаши, и в минуты этих пламенных молитв она не могла сказать Богу своему: «ими же веси судьбами спаси мя». Нет; ей нужно было *чудо*, быстрое, внезапное, спешащее к ней на помощь с неба, как молоньевая стрела. Такого чуда не было; но случилось другое чудо. К концу четвертого года брачной жизни у Глафиры Даниловны вдруг явился какой-то внезапный наплыв спокойствия и равнодушия ко всему ее окружающему. Справедливость требует сказать, что равнодушие это не шло в ту сторону, чтобы заставить Глашу выпустить бразды правления; напротив, она к этому времени подобрала их еще крепче, но весь мир, живу-

щий около нее, все *люди* для нее как бы умерли. Были еще у нее и другие покойники; это ее прежние верования и упования. Глаша опять переродилась. Как купец, потерявший половину своего состояния в море, она не хотела тому же морю доверять другую половину и не хотела держать капитал под спудом. Она не знала, куда деть свою жизнь? Не знала, на что она ей? Она сделалась необыкновенно молчалива, задумчива, читала запоем дни и ночи, как бы боясь восклонить голову от книги, чтобы голова не потянула ее куда-то, в какое-то ужасное место, которое где-то для нее уже очищено и готовое ждет ее, как неотразимый фатум. Самым ощущением Глафиры был нанесен совершенно новый удар: предшествовавшая этому периоду болезненная раздражительность ее уступила место столь же болезненной сосредоточенности. Чуть Глаша выпускала из рук книгу, глаза ее устремлялись на какой-нибудь один предмет, зрачки мало-помалу расширялись и дрожали; она начинала к чему-то прислушиваться, вздрагивала и среди мертвой тишины нерешительно произносила: «что?» Иногда она сама начинала замечать очень часто эти повторявшиеся *что?* – и они ее пугали: она боялась сумасшествия, часто начинающегося привычкою говорить самому с собою. Примешивался еще к этому другой страх, старый сказочный страх о зовущих душу. Кто это? Господи, кто же? Кто это зовет меня? что все это такое?.. размышляла она в суеверном страхе и в то же время, тихо оборачивая назад голову, смотрела вдаль расширявшимися

зрачками и опять лепетала: что? что?

И после таких припадков Глаша вдруг переставала бояться зовущих душу; она становилась где-нибудь у стола, у окна, у притолоки и по целым часам стояла тихая, безответная, как Лотова жена, остолбеневшая при взгляде на пылающий Содом и Гоморру. Глаша видела свой Содом, в котором текут ее *лучшие годы*. Она во весь этот период времени не хотела никакого общества, любила свои мечты, свои страдания и даже свои галлюцинации. Ее утомляли ее мечтания; но они ей были сладки, и она от них не могла оторваться и не хотела отрываться. Думать, как бы то ни было, но думать о своем положении, соображая все его условия и при помощи зрелых размышлений искать от него спасения, это было не по ней. Такая дума только сердила и раздражала ее. В Старом Городе нет никаких сепараций, а быть исключением, на это у Глаши не хватало твердости. Да и как же, на что же ей эта сепаративность? Она уйдет назад, к дядьям; а этот дом с цветными окнами, этот сад, флигеля, амбары, все это останется?.. О нет; нет, ей близко это немое сокровище, оно цена ее крови, и она его любит, и она с ним не расстанется. Нет; прочь всякие думы с их логическими выводами и с их конечными результатами! То ли дело ты, безответственная своевольная мечта: с тобою, закрыв глаза, летишь, куда знаешь, достигаешь всего без всяких жертв, без всякого стеснения. Закрой глаза, и ты встала, вечно могучая, вечно услужливая; чем тебя больше утомляешь, тем ты становишься раз-

нообразнее и изобретательней. О, это лучше, и к этому так легко привыкаешь, что не успеешь опомниться, как ты уже и не человек, как душа твоя разболелась, раскисла и опустилась до немощи. У этого коварного друга тоскующей души такое меланхолическое лицо, такое доброе имя, что за ними все его великое предательское коварство обыкновенно остается почти всегда незамеченным. Глаша вся предалась мечтательности и не замечала, как фантазия ее от беспрестанной деятельности становилась все своевольнее и своевольнее, а мыслительные способности, разум и соображение, лишенные всякой здоровой пищи, со дня на день все путались и расплывались в неясных, неопределенных мечтах, почти в сновидениях. Она не замечала и не могла заметить, как от ряда желанных мечтаний переходила к полосе совершенного бесчувствия; становилась бессмысленной трусихой; боялась темноты, вздрагивала при малейшем шорохе ветра.

Это состояние тяжелое, которому человек если не сумеет дать отпор вовремя, то уж после несет и несет его до тех пор, пока что-нибудь извне перетряхнет его наново. Самыми светлыми минутами этого мечтательного состояния Глаши были те минуты, когда она чувствовала, что в нее как будто каким-то чудом вселяется неведомая ей другая женщина, полная жизни, полная веры и упований. Это создание Глашиной мечты твердой рукой изгоняло из ее сердца жесткую скопидомку с ее сухими расчетами и с нанковым карманом у пояса; она ставила Глашу в какой-то очарованный круг и

заставляла ее пламенеть и томиться, созерцая немые видения, которыми немые духи внешней природы сговариваются с подвластной им плотью человека. И из всех окружающих Глашу людей ни один человек ничего не знал об этих видениях. Они замечали только низошедшие к Глаше кротость и спокойствие и объясняли эту совершившуюся в ней перемену по-своему. Няньки и мамки, считавшие себя адвокатами прав раскармливаемого ими на убой маслюхинского потомства, ходили на цыпочках и говорили шепотом: «слава богу, Пилатка наша утихомирилась». Мила, наблюдая сестру, в глаза ей говорила только: «все-то ты, Глаша, чудишь», – а за глаза с волнением рассказывала своей приятельнице, городничихе Парохонцевой:

– Боюсь я, Варюшка, чтоб она с ума у нас не сошла! – но Парохонцева всегда успокаивала Милочку.

– Не бойся, – отвечала она с первого раза, выслушав опасения девушки. – Не бойся, от горя ни с ума не сходят, ни умирают. Ах-ма-хма! С кем, дружок, с какой женщиной этих чудес не бывало!.. Пройдет, поверь, на несчастье все пройдет, Мила! Пройдет так или пройдет иначе, а все-таки пройдет.

Пизонский тоже задумывался о Глаше и скорбел о ней едва ли не более всех; но обнаруживал это только тем, что шептал на ухо Милочке: «Миленькая, как мне что-то стало жаль нашей Глаши!»

Муж Глаши и ее дядя Пуговкин не замечали в состоянии



Глаши ничего особенного: Пуговкин потому, что он не замечал никогда ничего, даже собственных слов и фантазий, а Маслоухин потому, что он, как известно, и вовсе не имел мысленных очес и видел только то, что моталось перед его соловыми, телесными глазами; а эти глаза видели женины плечи, завешенные длинными ресницами китайские глазки, да свеженький, нежно очерченный чувственный ротик.

Не замечал еще ничего за Глашею сам Старый Город, потому что старые города не умеют засматривать во святая святых человека. Старый Город, осведомляясь от домовых вестовщиц, что Маслоухинша смирила нрав свой, видел в этом только одно новое подтверждение своей вековечной пословицы: «поживется слюбится». Всем досужим людям Старого Города и в мысль не западало, что Глаша не сжилась ни с чем и ни с кем не слюбилась, что она, как Галатея, лишь ждет одного одухотворяющего прикосновения, и все дело теперь только в том, кто принесет прекрасному мрамору эту душу: эллин, жид или самарянин?

## XVI. *Suum cuique*

1

Старому Городу, впрочем, и некогда или лень заниматься рассуждениями, как и о чем страдала какая-нибудь скорбящая душа. Старый Город не любил мудрствовать; он во-

---

<sup>1</sup> Каждому свое (*лат.*).

обще отличается хладнокровием и достоинством поведения. Он все делает неспешно, тихо и солидно. Он боголюбивый город, но и самая молитва его бывает усердна, но не бывает ни горяча, ни восторженна. Когда он молится, вы чувствуете, что он это делает по обязанности, страха ради гнева на ны движимого; один единственный момент, когда он на мгновение согревается жаром, жаром искреннего прошения, это тот момент, когда соборный Ахилладиакон возглашает прошение о людях, «ожидающих великия и богатыя милости». Великие и богатые милости, ниспослания которых всем предстоящим просит в эту минуту Ахилладьякон, всеми предстоящими понимаются совсем не в том смысле, в каком прошение это понималось слагавшим его творцом литургии, а в том, в каком каждому хочется вымолить себе этих милостей. Самая торговля Старого Города производилась как-то вяло, словно сквозь сон и словно нехотя. Одно время, когда он оживлялся вдруг и закипал самою, впрочем, неразнообразною деятельностью, было время нагрузки судов. Тогда еще в нем что-то будто копошилось; но зато тотчас же с отплытием караванов он себя как будто вознаграждал за кратковременное беспокойство; он становился таким сонным, таким тихим, что вид его пустынных улиц и площадей невольно напоминал отдыхающего в полдневный жар сытого барана, по которому изредка пробегают полевые жучки в своих запыленных панцирях. И то и эти-то жучки выползали из своих норок разве только за нуждой – купить чаю, зажига-

тельных спичек, аршин миткалю или черных гарнитуровых ленточек. А во все остальное время все они копошились за своими печами да припечками, и их почти никогда не было видно наружи. Пролетариев в Старом Городе решительно не водилось: здесь у каждого был хоть какой-нибудь свой угол и каждый мог свободно скрывать свою лень и свое безделье под смоковницею своею и под виноградом своим. Но были в Старом Городе свои бездомовники, свои «нерачители дома», которые скучали под смоковницами своими и без всякого зазрения совести выносили свою праздность на открытое место. Все эти нерачители собирались воедино на небольшую зеленую площадку над берегом реки, как раз под домом Маслюхиных, и пребывали здесь почти с ранней зари и до поздней. Здесь всякий мало-мальски погожий день обыкновенно можно было видеть человек шесть, семь «нерачителей», которые лежали тут на животах и глядели то на темную воду речки, то на раскаленный солнцем Батавинский спуск. У них не бывало здесь ни шуму, ни крику, ни игр; они даже мало разговаривали, потому что у них все уже давно было переговорено друг с другом в ежедневных собраниях; новых тем для разговоров Старый Город доставлял немного: умрет кто-нибудь, или у кого-нибудь дитя родится, да и только; газеты большой обо всем этом, как ни верти, не напишешь. Припечет нерачителей теплое солнышко, найдет на них дрема сладкая, и они тихо засыпают в своем импровизированном клубе. Разговоры у них редко вяжутся, и то разговоры

разве вроде следующего:

– Печет, – скажет один нерачитель, крестя свой зевающий рот.

– Бог дает тепло очень, – ответит другой, и с этим словом, забывая завет веры отеческой, вытаскивает из-за сапога запрещенную этим заветом трубочку, тихонько ее закуривает в шапке и начинает сосать.

– А эту трубочку отлично курить, когда по дороге едешь, – заговаривает, глядя на курильщика, первый нерачитель и начинает лениво подшвыривать сваливающиеся с ног сапожные опорки.

Курильщик молча сплевывает через губу.

– Мы когда шли один раз степью, – продолжает собеседник, – так где вода соленая, мы совсем воды мало и пили, а все больше эту трубочку покуривали.

Курильщик догадывается, передает запретную снасть соседу и сам через минуту храпит подстать всему уснувшему клубу, и храпят они так дружно и согласно, что братский храп их со всею гармоническою полнотою звуков разносится по всему берегу и долетает до ушей Глафиры, которая, стоя у оконного косяка, не сводит глаз с млеющей речки и беспрестанно хочет прошептать свое *что?*

Самое живое зрелище для членов клуба нерачителей доставляют спускающиеся с батавинской горы мальпосты. Как бы крепко ни спали под полуденным солнцем или под вечернею тенью нерачители, но они непременно слышали, как

неистово орут, как беспощадно хлещут кнутьями и сами до зеленого пота бьются почтовые ямщики, вытягивая на своих измученных клячах безобразные убоища, называемые «мальпостами». Тут сейчас же начинались соображения, что надо бы взять дышловым вправо или выносным влево, или дышловым влево, а выносным вправо; и этим соображениям не бывало конца, пока громадный мальпост скрывался за горою. Еще более удовольствия этим художникам было смотреть, как дилижансы спускались с той стороны, с Батавина взвоза, как они, скрипя по шоссе заторможенными колесами, швыряли из стороны в сторону подорванных коренников.

– Ух, как нынче прет прекрасно! – говорили клубисты, наблюдая, как расшатавшееся дышло бьет и давит едва успевающих убирать свои подорванные ноги лошадей.

И опять нерачители мирно засыпали, перекинувшись разве только еще одним замечанием:

– А Маслюхиныша, братцы, все стоит у окошка да глазеет. Видать так, что она дому совсем нерачительница.

Старый Город только так и разбирал людей, рассматривая их со стороны их рачительности или нерачительности. В Старом Городе, конечно, были люди и поразвитее, и подальнорче – была своя интеллигенция, даже было несколько сортов этой интеллигенции; но на всех представителей этой интеллигенции Глафира смотрела, не видя их вовсе, как не видала валявшихся перед ее домом нерачителей. Интели-

генцию эту составляли преимущественно не коренные старогорожане, а люди пришлые – чиновники и духовенство. Все они играли между собою в карты, строили друг другу разные шуточки и штучки, и все жили своею жизнью, не желая никакой иной жизни, и ни о какой иной жизни не мечтали, тогда как Глафира жила одними мечтами. Правда, что были в Старом Городе и протестанты, люди, недовольные своим настоящим и протестующие даже против целого порядка вещей; но эти люди все-таки знали, чего им хочется. Первый протестант – учитель математики, Варнава Омнепотенский, например, прямо восставал против всего сущего; судейша разделяла во всем мнения Омнепотенского, но признавала невозможным упразднение браков; мещанин Данило Лихостратонов, пропитывавшийся довольно долгое время разноскою по Петербургу сахарного мороженого, пропитался сам ядом абсентеизма и отзывался с презрением о Старом Городе, о его порядках и вообще о патриотизме; он держался убеждений космополитических и даже несколько революционных; но Глафире решительно не было дела ни до чего того, против чего восставали эти протестанты. Ей решительно было все равно, что думали в Старом Городе об Омнепотенском; она не входила в разбор, почему самые красные речи комиссара Данилки все в одно слово называли прямо *брехнею*, и она даже не выразила ни сочувствия, ни осуждения поступку соборного дьякона Ахиллы Десницына, заключавшемуся в том, что этот дьякон, столько же отли-

чавшийся громовым голосом, сколько непомерною силою и решительностью, наслышась о неуважительных отзывах комиссара Данилки на счет церковных обрядов, пришел однажды среди белого дня на площадку, где собирались лежать нерачители, и всенародно избил его здесь по голове палкою.

Ее не занимало даже это великое событие, несмотря на то, что оно имело самую большую огласку и было сигналом такой новой борьбы, которой Старый Город никогда не ожидал и не предвидел.

## **XVII. Начало болезням**

Дело о нанесении ударов рукою дьякона Десницкого мещанину Данилке Лихостратонову в тот же самый день было внесено на решение соборного протоиерея, отца Савелия Туберозова. Внесено оно было самим дьяконом, который, отщелкав Данилку собственноручно, собственноручно же взял его за ухо и повел всенародно по набережной к серенькому домику отца протоиерея.

Отец Туберозов, высокий, плотный, сановитый мужчина с гордым и правильным лицом, с головою, покрытою волосами густыми, словно львиная грива, и пронизанною седыми нитями, сидел в это время за круглым столиком красного дерева. Он был в одном терновом подряснике и пил чай с принесенною им самим просфорюю.

Ахилла-дьякон ввел Данилку за ухо в самую залу удив-

ленного этой процессией отца протоиерея и, поставив его у притолки, обратился к хозяину с такими словами: «Я, отец протопоп, сейчас наказал сего человека».

Отец протопоп положил на стол просфору и взглянул на Десница.

– Он смущает народ и склоняет к непочитанию обрядностей. Он говорил, и мне сие стало достоверно известно, – что дождь, сею ночью шедший после вчерашнего мирского молебствия, не по молебствию воспоследовал.

– Откуда ты это знаешь, глупец? – спросил Туберозов стоящего перед ним растрепанного Данилку.

Сконфуженный Данилка молчал.

– Говорил, отец протопоп, – продолжал дьякон, – что это силою природы последовало.

– Силою природы? – процедил, собирая придыханием с ладони крошечки просфоры, отец Туберозов. – Силою природы вот такие дураки, как ты, рождаются, но и то на них посылается лоза, вводящая их в послушание и в разум. Где ты это научился таким рассуждениям? А! Говори, я тебе приказываю.

– По сомнению, отец протопоп, – скромно отвечал Данилка.

– Сомнения и самомнения тебе, дуре этакой, не принадлежат, и посему принял ты вполне по заслугам своим достойное, – решил отец протопоп и, встав с своего места, сам своею рукою завернул Данилку лицом к порогу и сказал: – Иди,



глупец, к себе подобным.

Решения отца протоиерея были безапелляционны. Отец протопоп Туберозов был всеми чтим, всеми уважаем и почитаем за самого умнейшего человека во всей округности, следовательно, отец протопоп ошибаться и погрешать не мог.

– Сей голове, что у нас под камилавкой ходит, сопротиву-стойной еще нет нигде, – утверждал всем и каждому насчет отца протопопа Ахилла-дьякон, и Ахилле-дьякону никогда против этого ни один человек не возражал.

Правда, что был один такой записной спорщик, это лекарь Пуговкин, который не терпел ничего представляемого в превосходной степени и потому не сделал исключения и для отца Туберозова, но за то же лекарь Пуговкин и был на этом споре посрамлен и смят дьяконом Ахиллой.

– Кто же? кто, по-твоему, есть умнее отца протопопа? – спросил дьякон спорщика, чуть только тот подал слабый голос сомнения.

– Да есть такие люди, – отвечал, азартно мотая головою, лекарь.

– Да, но где же они? ведь всякий же человек где-нибудь живет; слух про него где-нибудь слышится; ну, так где же они, эти люди?

– Где?.. Ну, да вот сейчас первый царь Соломон был его умнее.

– Ха-ха-ха! Ну да и хватил же кого! Ну, царь Соломон; ну, это первый и жил в Иерусалиме, да и то его уже нет ноне.

– Ну, а министр юстиции?

– Что? Министр юстиции! – Ахилла подумал с минуту и решил: – Ну, пускай министр юстиции; ну, а еще-то кто же его умнее?

Лекарю как назло решительно никто не приходил в голову, и дьякон остался победителем лекаря и еще более утвердил за отцом Туберозовым такую репутацию, что, хотя, может быть, и есть в настоящее время один человек, который его умнее, но и то, где же этот человек? Бог знает где; далеко, в Петербурге. Да и потом, это совсем не человек, а «министр юстиции», это нечто мифическое, нечто такое, что существует только как олицетворение какой-то непостижимой идеи и отнюдь не ест ни пирогов со сметками, ни кашицы.

Чем и как отец протопоп создал себе такую репутацию, которая непосредственно сближала его с министром юстиции и с царем Соломоном, мы увидим впоследствии, но он действительно часто от малых вещей делал такие анализы и послышки, до которых другие не додумывались. Он доказывал это не раз и доказал даже при дальнейшем разборе дела Данилки.

Выпроводив за порог еретичествующего Данилку, отец протоиерей опять чинно присел, молча докушал свой чай, и только тогда, когда все это было обстоятельно покончено с чаем, он привстал и сказал дьякону Ахилле:

– А ты, казак этакий, долго еще будешь свирепствовать? Не я ли тебе внушал не давать рукам воли?

– Нельзя, отец протопоп; утерпеть было невозможно; потому что я уж это давно хотел доложить вам, как он все против божества и против бытописания; но я все это ему по его глупости снисходил доселе.

– Да; снисходил доселе.

– Ей-богу снисходил; но уж когда он, слышу, начал против обрядности...

– Да.

Протопоп улыбнулся.

– Ну, уж этого я не вытерпел.

– Да, так надо было это всенародно!

– Отчего же, отец протопоп? Святой Николай Ария всенародно же...

– То святой Николай, а то ты! – перебил его отец Туберовов. – Понимаешь, *ты!* – продолжал он, внушительно погрозив дьякону пальцем. – Понимаешь ты, что ты курица слепая; что ты ворона и что довлеет тебе, яко вороне, знать свое *кра*, а не в эти дела вмешиваться.

– Да я, отец протопоп...

– Что, «отец протопоп»? Я двадцать лет отец протопоп и знаю, что «подъявый меч, мечом и погибнет». Что ты костылем-то размахался? Забыл ты, что в костыле два конца? А! забыл? забыл, что одним по нем шел, а другой мог по тебе пойти? На силищу свою надеялся! Дромадер! Не сила твоя тебя спасла, а вот что, вот что спасло тебя! – произнес протопоп, дергая дьякона за рукав его рясы.

– Так понимай же и береги, чем ты отличен и во что поставлен!

– Что ж, я ведь, отец протопоп, свой сан никогда...

– Что!

– Я свой сан никогда унизить не согласен.

– Да, я знаю, ты даже его возвысить стремишься: богомольцев незнакомых иерейским благословением благословляешь... – С этим словом протопоп сделал к дьякону шаг и, ударив себя по колену, прошептал: – А кто это, не знаете ли вы, отец дьякон, кто это у бакалейной лавки, сидючи с приказными, папиросы курит?

Дьякон сконфузился и забубнил:

– Что ж, я точно, отец протопоп... Этим я виноват, отец протопоп... но это больше ничего, отец протопоп, как по неосторожности, ей-право, отец протопоп, по неосторожности.

– Смотрите, мол, какой дьякон франт, как он хорошо папиросы муслит.

– Нет; ей-право, ей, великое слово, ей-ей, отец протопоп. Что ж мне этим хвалиться? Но ведь этой невоздержностью не я один из духовных грешен.

Туберозов оглядел дьякона с головы до ног самым многозначущим взглядом и, подняв голову, спросил:

– Что же ты, хитроумец, мне этим сказать хочешь? То ли, что, мол, и ты сам, отец протопоп, куришь?

Дьякон смутился и ничего не ответил.

Туберозов долго-долго наслаждался замешательством Ахиллы, и наконец, указывая рукою на угол комнаты, где стояли три черешневые чубука, проговорил:

– Что такое я, отец дьякон, курю?

Ему опять отвечало одно молчание.

– Говори же, что я курю?

– Трубку, – ответил дьякон.

– Трубку. Где я ее курю? Я ее дома курю?

– Дома курите.

– В гостях, у хороших друзей курю?

– В гостях курите.

– А не с приказчиками у лавок курю! – вскрикнул вдруг, откидываясь всем телом назад, Туберозов и с этим словом, постучав внушительно пальцем по своей ладони, добавил: – Ступай к своему месту, да смотри за собою. – С этим отец протопоп стал своею большущею ногою на соломенный стул и начал бережно снимать рукою желтенькую канареечную клетку.

В это время отпущенный с назиданием дьякон было тронулся молча к двери, но у самого порога вздумал поправиться хотя одним словом и, возвращаясь шаг назад в комнату, проговорил:

– Извините меня, отец протопоп, я теперь точно вижу, что он свинья и что на него не стоило обращать внимания.

– А я тебе подтверждаю, что ты ничего не видишь, – отвечал, тихо спускаясь, соскакивая с клеткой в руках со стула,

отец Туберозов. – Я тебе подтверждаю, – добавил он, подмигнув дьякону устами и бровью, – что ты слепая курица. Помни лучше, что где одна свинья дыру роет, там другим след кладет.

– И опять не в такту, – проговорил в себе Ахилла-дьякон, выскочив разруганный из дома отца протопопы. Как ни крепки были толстые нервы Ахиллы, он все-таки был так расстроен и взволнован, что не пошел прямо домой, а отправился к небольшому желтенькому домику, из открытых окон которого выглядывала целая куча белокуренных детских головок.

Дьякон торопливо взошел на крылечко этого домика, потом с крыльца вступил в сени и, треснувшись о перекладину лбом, отворил дверь в низенькую залу. По зале, заложив назад маленькие ручки, расхаживал сухой миниатюрный человечек в подряснике и с длинной серебряной цепочкой на запавшей груди.

Это был сотоварищ Туберозова, второй соборный священник, отец Захария. Он летами был ровесник отца Савелия, но, будучи сух и до последней степени миниатюрен, казался гораздо его моложе. У отца Захарии седой пронизи было гораздо менее, чем у Туберозова, и в чертах лица еще не заметно было старческой сухости; у него были детские голубые глазки и лицо самое доброе и все как будто улыбающееся.

Ахилла-дьякон входил в дом к отцу Захарию совсем не с

тою физиономиею и не той поступью, с какими он вступал к отцу протопопу. Напротив, даже самое смущение его, с которым он вышел от отца Туберозова, по мере его приближения к дому отца Захарии, все исчезало и, наконец, на самом пороге заменилось уже крайним благодушием. Дьякон спешил вбежать в комнату как можно скорее и от нетерпения еще у порога начинал:

– Ну, отец Захария! ну...

– Что такое? – спросил с кроткою улыбкою отец Захария и, остановясь на одну минутку перед дьяконом, сказал: – Чего егозишься, а? чего это? чего? – И с этим словом священник, не дождавшись ответа, тотчас же заходил снова.

Дьякон прежде всего весело расхохотался и потом воскликнул:

– Ну, да и был же мне пудромантель! Ох, отче, от мыла голова болит.

– Кто же? а? Кто, мол, тебя пробирал-то?

– Да ведь один у нас министр юстиции.

– А, отец Савелий.

– Никто же другой. Дело, отец Захария, необыкновенное по началу своему и по окончанию необыкновенное. Смял все, стигостил, повернул Бог знает куда лицом и вывел что такое, чего рассказать не умею.

Дьякон сел и с мельчайшими подробностями передал отцу Захариию всю свою историю с Данилой и с отцом Туберозовым. Захария, во все время этого рассказа, все ходил тою

же подпрыгивающей походкой. Только лишь он на секунду приостанавливался, по временам устранял с своего пути то одну, то другую из шнырявших по комнате белокурых головок, да когда дьякон совсем кончил, то, при самом последнем слове его рассказа, закусив губами кончик бороды, проронил внушительное: «Да-с, да, да, да – однако, ничего».

– Я больше никак не рассуждаю, что они в гневе и еще...

– Да; и еще что такое? Подите вы прочь, пострелята! Так, и что такое еще? – любопытствовал Захария, распихивая в то же время с дороги детей.

– И что я еще в это время так неполитично трубки коснулся, – объяснил дьякон.

– Да; ну, конечно... разумеется... отчасти оно могло тоже... да; но, впрочем, все это... Подите вы прочь, пострелята! впрочем, все пройдет, да, пройдет, дьякон, пройдет.

И дьякон совершенно этим успокоился и даже, встретясь по дороге домой с Данилою, остановил его и сказал:

– Ты, брат, на меня не сердись; я если наказал тебя, то по христианской обязанности наказал.

– Всенародно оскорбили, отец дьякон! – отвечал Данилка тоном обиженным, но звучащим склонностью к примирению.

– Ну, и что ж теперь будешь делать, когда я строг?.. Я тебе в сенях у городничего говорил: рассуждай, Данило, по бытописанию, как хочешь; но обряда не касайся. Говорил я ведь это: «не касайся обряда»?



Данилка нехотя кивнул головою.

– Да, – продолжал дьякон, – я говорил. А почему я так говорил? Потому, что это наша жизненность, существо наше, и ты его не касайся. Понял теперь, Данило?

– Строго, строго очень поступили, отец дьякон, – говорили находившиеся при этом разговоре два мещанина.

Ахилла-дьякон, выслушав это замечание, добродетельно вздохнул и, положив свои руки на плечи обоих мещан, сказал:

– Строг!.. – И, подумав минутку, добавил: – Но зато и справедлив.

И с этим они все разошлись, и к вечеру того же дня история эта уже была почти позабыта; все были успокоены, и все отошли ко сну своему тихо, мирно и безмятежно. Не так отнесся к этому дню только один Туберозов.

## **XVIII. Савельева синяя книга**

Протоиерей Туберозов, выпроводив дьякона, ни лицом своим, ни поступками не обнаружил ни гнева, ни смущения. Оставшись сам с собою, он спокойно переменял корм своим канарейкам, потом походил по саду, потом в свое время пообедал и заснул в зале на мятом турецком диване, обитом светлым мебельным ситцем. Восстав от послеобеденного сна, отец Савелий прошелся, навестил городничего и возвратился домой, когда для него на том же самом диване уже

была постлана белая простыня и положены две большие подушки и легкое ситцевое одеяло.

Отец Туберозов закусил и простился со своей протопопицей. Прощанье отца протопопа с женою происходило обыкновенно в продолговатой узенькой комнатке рядом с гостиной, служившей Туберозову в то же время и кабинетом, и спальней. Протопопица спала одна на широкой кровати в упомянутой узенькой комнате, где у окошечка стоял маленький ломберный столик. На этом-то столике для отца протопиерея и приготавлилась его легкая вечерняя закуска. Протопопица сама никогда не ужинала, потому что иначе ей снились страшные сны. Она обыкновенно только сидела перед мужем, пока он закусывал, и оказывала ему небольшие услуги. Потом они оба вставали, молились перед образом и непосредственно за тем оба начинали крестить один другого. Это взаимное благословение друг друга на сон грядущий они производили всегда оба одновременно и притом с такою ловкостью и быстротою, что нельзя было надивиться, как их быстро мелькавшие руки не щекнут одна по другой и одна другую не остановят.

Получив взаимные благословения, супруги напутствовали друг друга и взаимным поцелуем, причем отец протопоп целовал свою низенькую жену в лоб, а она его в сердце. Затем они расставались: отец протопоп уходил в свою гостиную, запирал за собою на крючок дверь и, поправив собственными руками свое изголовье, садился в одном белье по-турец-

ки на диван и выкуривал трубку, а потом предавался покою. Точно так же пришел он в свою комнату и сегодня и так же выкурил свою трубку, но не лег в постель, а встал, взял к себе на колена маленькую кучерявую коричневую собачку и стал щекотать ее шейку.

– Отец Савелий, ты чего-то сомневаешься? – спросила через стенку протопопица, хорошо изучившая все мельчайшие привычки мужа.

– Нет, друг, ни в чем не сомневаюсь! – отвечал, вздохнув, протопоп и, положив собачку в ноги на свою постель, прикрыл ее одеялом.

– Тебе не подать ли, отец протопоп, на ночь чистый платочек? – осведомилась, приложив свой курносый носик к створу двери, Наталья Николавна.

– Платочек? да ведь ты мне в субботу дала платочек.

– Ну так что ж, что в субботу?... Да отопритесь... что это вы за моду такую взяли, чтоб запираяться?

Попадья принесла чистый фуляровый платок, и они с мужем снова начали крестить друг друга и снова расстались.

Отцу протопопу не спалось. Он долго ходил по своей комнате и наконец подошел к небольшому красному шкафику, утвержденному на высоком комодe с выгнутой доскою. Из этого шкафа отец протопоп достал евгениевский календарь, переплетенный в толстую синюю папку с желтым холщовым корешком, положил эту книгу на круглом столике, стоявшем у его постели, и зажег перед собою две экономические свеч-

ки.

– Будешь читать, верно? – спросил опять в эту минуту из-за стены голос заботливой протопопицы.

– Да, почитаюсь немножко, – отвечал отец Туберозов и, оседлав свой гордый римский нос большими очками, начал медленно перелистывать свою синюю книгу.

Он не читал, а только перелистывал эту книгу, и притом останавливался не на том, что в ней было напечатано, а только просматривал его собственною рукою исписанные прокладные страницы.

Все эти записи были сделаны одновременно и отличались нередко весьма большою оригинальностью и разнообразием. Все они были замечательны своею краткостью и сжатостью, но несмотря на эту краткость, по-видимому, воскрешали перед отцом протопопом целый мир воспоминаний, к которым старший поп Старого Города любил от времени до времени обращаться.

Сегодня он просматривал календарь с самой первой прокладной страницы, на которой было написано: «По рукоположении меня *4-го февраля 1831 года* преосвященным Гавриилом во иерея, получил я от него сию книгу в подарок за мое доброе прохождение семинарских наук и за поведение».

За первую надпись, совершенную в первый день иерейства Туберозова, была вторая: «Проповедывал впервые в соборе после архиерейского служения. Темою проповеди избрал текст притчи о сыновьях вертоградара: „Один сказал *не*

*пойду* и пошел, а другой отвечал *пойду*, и не пошел“. Говорил плавно и естественно. Владыко одобрили и после обедни поставили отцу ректору на замечание, отчего в семинарии мне не дана была фамилия *Остромысленский*; но, впрочем, присовокупили владыко, и сия фамилия Туберозов для проповедника весьма благоприличная».

*«1832 года, декабря 18-го, – гласила следующая надпись, – был призван высокопреосвященным и получил назначение в Старый Город, где нарочито силен раскол. Указано противодействовать оному всячески.*

*1833 года, в восьмой день февраля, выехал с попадьёю из Благодухова в Старый Город и прибыл сюда 12-го числа о заутрени. В церкви застал нестроение. Раскол силен.*

Осмотревшись, нахожу, что противодействие расколу точка в точку по консисторской инструкции немислимо, и о сем писал в консисторию и получил выговор. Писано *17-го апреля*».

Протоиерей пропустил несколько заметок и остановился опять на следующей: «Получив замечание о недоставлении доносов, оправдывался, что в расколе делается все известное, про что и писать нечего, и при сем добавил в рапорте, что духовенство находится в крайней бедности и того для, по человеческой слабости, не противудейственно подкупам и само потворствует расколу. За сей донос получил строжайший выговор и замечание и вызван к личному объяснению».

Ниже, через несколько записей, значилось: «Был по делам

в губернии и, представляясь владыке, докладывал о бедности причтов. Владыко очень о сем соболезновали; но заметили, что и сам Господь наш не имел где главы восклонить, а к сему учить не уставал. На сие ничего его преосвященству не возражал.

Политично за вечерним столом у отца ключаря еще раз заводил речь о сем же предмете с отцом благочинным и с секретарем консистории; однако сии речи мои обращены в шутку. Секретарь с усмешкой сказал, что „бедному удобнее в царство Божие внити“, что мы и без его благородия знали; а отец ключарь при сем рассказали небезынтересный анекдот об одном студенте, который, будучи в мирском звании, на вопрос владыки, имеет ли он состояние? отвечив: „Имею, ваше преосвященство, и движимое, и недвижимое“. „Что же такое у тебя есть движимое?“ – спросил его владыко, видя заметную мизерность его костюма. „А движимое у меня – дом в селе“, – отвечив вопрошаемый. „Как так, дом движимое?“ – „А так, что как ветер подует, то он весь и движется“. Владыке ответ сей весьма своеобразным показался, и он, еще более любопытствуя, спросил: „А что же ты своею недвижимостью нарицаешь?“ – „А недвижимость моя, – отвечал студент, – матушка моя, дьячиха, да наша коровка бурая, кои обе ног не двигают, одна от старости, другая же от бескормицы“. Немало сему все мы смеялись, хотя я, впрочем, находил в сем наиболее достойного горького плача, нежели веселости. Начинаю замечать во всех значительную

смешливость и легкомыслие, в коих доброго не предусматриваю».

Позже через год было написано:

«Представлял репортом о дозволении иметь на Пасхе словопрение с раскольниками, – в чем и отказано. Вдобавок к форменной бумаге секретарь, смеючись, отписал приватно, что если скука одолевает, то чтобы к ним проехался. Нет уж, покорнейше спасибо!

*13 окт<ября> 35 г.* Читал книгу об обличении раскола. Все в ней есть, да одного нет, что раскольники *блюдут свое заблуждение*, а мы своим *правым путем небрежем* и как младенцы идем, оным играючи; а сие, мню, яко важнейшее.

Сегодня утром, *18 марта сего 1836 года*, попадья Наталья Николаевна намекнула мне, что она чувствует себя непорочною. Подай, Господи, нам сию радость. Ожидать 9 ноября.

*9-го мая*, на день св. Николая Угодника, происходило разрушение деевской часовни. Зрелище было страшное и непристойное, и к сему же как на зло железный крест с купольного фонаря сорвался и повис на цепях, а будучи понуждаем баграми к падению, упал внезапно и проломил пожарному солдату голову, отчего тот здесь же и помер. Вечером к моленной собрался народ, и их, и наш церковный, и много горестно плакали.

*10 мая.* Были большие со стороны начальства ошибки. Пред полуночью прошел слух, что народ вынес на камень лампаду и начал молиться над разбитой моленной. Все мы

собрались и видим, точно идет моление и лампада горит в руках у старца и не потухает. Городничий велел подвезти пожарные трубы и из них народ окачивать. Было сие весьма необдуманно и, скажу, даже глупо, ибо народ зажег свечи и пошел по домам, воспевая „мучителя фараона“ и крича „Господь поборает нам и ветер свещей не гасит“. Говорил городничему, сколь неосторожно сие его распоряжение; но ему что? ему лишь бы у немца выслужиться.

*17 мая* Наталья Николаевна намекнула, что она ошиблась.

*20-го мая.* По донесению городничего, за нехождение со крестом о Пасхе в дома раскольников, был снова вызван в губернию. Изложил сие дело владыке обстоятельно, что сие учинил не по нерадению, ибо то даже в карманный ущерб самому себе учинено было; но сделал сие для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего с причтом посещения лишаются. Владыко задумались и потом объяснение мое приняли; но царь жалуется, да пес разжалывает. Так как дело сие касалось и гражданской власти, то дабы и там конец оному положить, владыко послали меня объяснить сие губернатору.

Оле мне грешному, что я здесь вытерпел!

Оле вам, братия мои, искренний и други, за срамоту мою и унижение! Губернатор, яко немец, соблюдая амбицию, по па к себе не допустил, а отрядил меня для собеседования о сем к правителю. Сей же правитель, поляк, не по-владычному делу сие рассмотреть изволил, а напустился на меня



с криком и рыканием, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь воле моего государя. Оле тебе ляше прокаженный, и ты меня сопротивлением царю упрекаешь? Однако ушел молча, памятуя хохлацкую пословицу: „скачи враже, как пан каже“.

*Марта.* Сегодня в субботу страстную приходили причетники и дьякон просить, дабы шел с крестом на Пасхе и по домам раскольников, ибо несоблюдение сего им в ущерб. Отдал им из своих денег сорок рублей, но не пошел на сей срам, дабы принимать деньги у ворот, как подаяние.

*11 июля 1837 года* был осрамлен до слез и до рыдания. Опять был на меня донос, и опять я предстоял перед оным губернаторским правителем за невхождение со крестом в дворы раскольников. Донос сделан причетом. Как перенести сию низость и неблагородство? Мыслитель и администратор! сложи в просвещенном уме своем, из чего жизнь по-па русского сочетается. Возвращаясь домой, целую дорогу сетовал на себя, что не пошел в академию, но, приехав домой, был нежно обласкан попадьей и возблагодарил Бога, тако устроившего, яко же есть.

*Декабря 29.* Начинаю замечать, что городничество не благоволит ко мне, а за что, сего отгадать не в силах. Предположил устроить у себя в доме на святках вечерние собеседования с раскольниками; но сие вдруг стало известно в губернии и сочтено за непозволительное, и дано мне замечание. Не иначе думаю, как городничему поручен за мною особый

надзор. Наилучшее к сему шуточно относиться.

*1-го генваря*, благослови венец лета благодсти твоя Господи, а попу Савелью новый путь в губернию. Видно, и окропление мое не действует.

*8 генваря*, день Крещения Господня. Пишу сие, сидя в смраднице в архиерейском доме при семинарском корпусе. К вине моей о собеседованиях присоединена пущая вина. Донесено губернатору, что моим дьячком Лукьяном променена раскольникам старопечатная псалтырь из книг деевской молельной, кои находятся у меня на сохранении. Дело то и вправду совершилось, но я оно утаил, считая то, во-первых, за ничтожное, а во-вторых, зная тому причину – бедность, которая Лукьяна дьячка довела до сего. Но сие пустое дело мне прямо вменено в злодейское преступление и взят под начал и послан в семинарскую квасную квасы квасить.

*9 апреля*. Возвратился из-под начала. Тронут был очень слезами жены дьячка Лукьяна. А самого Лукьяна сослали в пустынь, но всего, впрочем, на один год.

*Августа 15*. Вернулся из губернии пономарь Евтихеич и сказывал, что между владыкою и губернатором произошла некая распря из-за визита.

*2 октября*. Слухи о распре подтверждаются. Губернатор, бывая в царские дни в соборе, имеет обычай в сие время довольно громко разговаривать. Владыко положили прекратить сие обыкновение и послали своего костыльника просить его превосходительство вести себя благопристойнее, сказав

при сем, что это не в кирке. Губернатор принял сие амбициозно и через малое время снова возобновил свои беседы; но на сей раз владыко уже сами остановились и громко сказали:

– Я уже теперь начну, когда ваше превосходительство кончите.

Очень это со стороны владыки одобряю.

*8 ноября.* Получил набедренник. Не знаю, чему приписать. Разве предыдущему.

*6 января 1837 г.* Новая новость! Владыко на новый год остановил губернаторскую дочь, когда она подходила к благословению в рукавичке, и сказали:

– Скинь прежде с руки собачью шкуру.

А я до сей поры и не знал, что наша губернаторша не немка.

*1 февраля* представлен к скуфье.

*17 марта.* Богоявленский протопоп, идучи ночью, от боли взят обходными в часть, якобы был в нетрезвом виде. Владыко на другой день в мантии его посетили. О, ляше правитель, будете вы теперь сию проделку свою помнить!

*18 мая.* Владыко переведены в другую епархию.

*16 августа.* Был у нового владыки. Мужчина, показалось, весьма рассудительный и характерный. Разговаривали о состоянии духовенства и приказали составить о сем записку. Сказали, что рекомендован им прежним владыкой с отличной стороны. Спасибо тебе, бедный дедуня!

*25 декабря.* Не знаю, что о себе думать, к чему я рожден и

на что призван. Попадья укоряет меня, что я и в сей праздник работаю, а я себе лучшего удовольствия не нахожу, как сию работу. Пишу мою записку с радостью такою и любовью, что и сказать не умею. Озаглавил ее так: „О положении православного духовенства и о средствах, как оное возвысить“. Думаю, что так будет добре. Никогда еще не помню себя столь счастливым и торжествующим, столь добрым и столь силы и разума преисполненным.

*1 апреля.* Представил записку владыке. Попадья говорит, напрасно сего числа представлял; по ее уму число сие обманчиво. Заметим.

*10 августа.* Произведен в протоиереи.

*4 января 1839 года.* Получил пакет из консистории, и сердце мое, стесненное предчувствием, забилося радостью; но сие было не о записке моей, а дарован мне наперсный крест. Благодарю, весьма благодарю; но об участии записки моей все-таки сетую.

*8 апреля.* Назначен благочинным. О записке слухов не имеется. Не знаю, чем бы сии трубы вострубить заставить?

*10 апреля 1840 года.* Год как благочинствую. О записке слухов нету. Видно, попадья не все пустякам верит. Сегодня она меня насмешила, заметив, что я, может быть, не так подписался.

*20 июня 1841 года.* Воду прошед яко сушу и египетского зла избежав, пою Богу моему дондеже есмь. Что это со мною было? Что такое я вынес и как я изо всего этого вышел

на свет божий? Любопытен я весьма, что делаешь ты, сочинитель повестей, басен, баллад и романов, не усматривая в жизни тебя окружающей нитей, достойных вплетения в занимательную для чтения баснь твою? Или тебе, исправитель нравов человеческих, и вправду нет никакого дела до жизни, а нужен только претекст для празднословия? Ведомо ли тебе, что такое есть поп, которого призвали, чтобы приветствовать твое рождение и призовут еще раз проводить тебя в могилу? Известно ли тебе, что жизнь сего попа не скудна бедствиями и приключениями, или ты думаешь, что его кутейному сердцу недоступны высокие страсти и что оно не слышит страдания? Или же ты с своей авторской высоты не замечаешь меня, попа; или ты мыслишь, что уже самое время мое прошло и что я уже не нужен стране, тебя и меня вскормившей и воспитавшей?.. О, *слепец!* скажу я тебе, если ты мыслишь первое; о, *глупец!* скажу тебе, если ты мыслишь второе и в силу сего заключения стремишься не поднять и оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться над тем, что я смраден стал задохнувшись. Сколько тех хитростей употреблено тобою одновременно, дабы осмеять меня, под именем жрецов, браминов и факиров, и сколько посмеется над тобою за весь сей труд твой позднейший потомок, которому время его даст поразмыслить о результатах нашего унижения и пригнетения. Будет то время, а может быть, и ныне есть, когда по поводу сего не единым человеком вспомнится старая история о реалистах-хозяевах, истребивших на

землях своих всех пернатых, дабы они вишни напрасно не съели, а впоследствии лишившихся за то всех полей от ничтожной тли и мошки.

Но снисхожу от философствования и предрекательств к тому событию, по которому напало на меня сие философствование.

Я отрешен от благочиния и чуть не извержен из сана. А за что? А вот за что. Занотую повесть сию с подробностью.

В марте месяце сего года, в проезд через наш город немца с поляком, предводителем дворянства, было праздновано торжество, и я, пользуясь сим случаем моего свидания с губернатором, обратился к оному сановнику с жалобой на обременение помещиками крестьян работами в воскресные дни и даже двенадесятые праздники, и говорил, что таким образом бедность наша еще увеличивается, ибо по целым селам нет ни у кого ни ржи, ни овса... Но только лишь я слово сие „овса“ выговорил, как сатрап мой возгорелся гневом, прынул от меня, как от гадины, и закричал: „Да что вы ко мне с овсом пристали! Я ведь не Николай Угодник – я овсом не торгую!“ Этого я не должен был стерпеть и отвечал: „Николай Угодник овсом не торгует, а вы должны знать, что если нужна наша Русь, то нужны ей и дьяк и священник, ибо их одних мы еще пока от немцев не приняли“. Но перед чем немец сконфузится, того лях дальше пойдет. Рассмеявшись злобным смехом на мои слова, оный поляк-правитель подсказал мне: „Не бойтесь, отец, было бы болото, а черти най-

дуться“. Эта последняя вещь была для меня горше первой. Кто сии *черти*? что сие *болотом* твои ляшские уста назвали? – подумал я в гневе и, не удержав себя в совершенном молчании, отвечал польскому кобелю, на Руси сидящему паном: „Что у дурака бывает одна речь на поговорку, да и та дурацкая, и что я, уважая сан свой, даже и его, ляха, на сей раз чертом назвать не хочу, дабы сим самым не обозвать свою Русь болотом“. И чем же сие для меня кончилось? Ныне я *бывый благочинный* и, слава Тебе, Творцу моему, что еще не *бывый поп* и не расстрига. Нет, сего ты, сочинитель, должно быть, не спишешь. Да; будет с твоей головы знать и про одни печеные яйца.

*3-го сентября.* Осенняя погода нагоняет жесточайшую скуку. Привык весьма действовать – ныне тоскую, и до той глупости, что даже секретно от жены часто плачу.

*27-го января 1842 года.* Купил у жида за семь рублей органчик и игорные шашки.

*Мая 18-го.* Взял в клетку чижа и начал учить под органчик

*2-го марта 1845 года.* Три года прошло без всякой перемены в жизни. Домик свой чинил да занимался чтением отцов церкви и историков. Вывел два заключения и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство еще на Руси не проповедано; а второе, что события повторяются и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз с отцом Николаем и был удивлен, как он это внял и согласился, но сейчас же сделал в шутку: „Русь, – сказал он, –

во Христа крестилась, но только во Христа не облакалась“. Значит, не я один сие вижу, а и другие видят, но отчего же им всем это смешно, а моя утроба сим до кровей возмущается.

*Новый 1846 год.* К нам начинают ссылатъ поляков. О записке моей еще сведений нет. Сильно интересуюсь политическою заворожкою, что начинается на Западе, и пренумеровал для сего себе газету. Чтение истории кончено.

*6-го мая 1847 года.* Прибыли к нам еще два новые поляка, пан Алоизий Конаркевич, да пан Болеслав Непокойчицкий, сей в летах самых юных, но уже и теперъ каналья весьма комплектная. Городничиха наша, яко полька, собрала около себя целый сонм соотчичей и сего Августина, или Августа, нарочито к себе приблизила. Толкуют, что сие будто потому, что сей юнец изряден видом и мил манерами, но мне мнится здесь нечто иное.

*20-го ноября.* Замечаю нечто весьма удивительное и непонятное: поляки у нас словно господами нашими делаются: все через них у городничего можно сделать и в губернии тоже, ибо сей Непокойчицкий оному моему правителю оказывается приятель.

*3-го февраля 1848 года.* Чего сроду не хотел сделать, то ныне сделал: написал на поляков порядочный донос, потому что превзошли всякую меру. Мало того, что они уже с давних пор гласно издеваются над газетными известиями и представляют, что все сие, что в газетах изложено, якобы не так, а совершенно обратно, якобы нас бьют, а не мы бьем



неприятелей, но от слова уже и до дела доходят. На панихиде за воинов на брани убиенных подняли с городничихою столь непристойный хохот, что отец протоиерей послал причетника попросить их о спокойном стоянии или о выходе, после чего они улыбаючись из храма вышли. Но когда мы с причтом, окончив служение, проходили мимо бакалейной лавки Лялиных, то один из поляков вышел со стаканом вина на крыльцо и, подражая голосом диакону, возгласил: *много ли это?* Я все сие понял, что это посмеяние многолетию, и так и описал, и сего не срамлюсь, и за доносчика себя не почитаю, ибо я русский и деликатность с таковыми людьми должен считать за неуместное.

*1-е апреля*, вечером. Донесение мое о поступке поляков, как видно, хотя поздно, но все-таки возымело свое действие. Сегодня утром приехал в город жандармский начальник Бржебжицкий и, пригласив меня к себе, долго и в подробности обо всем этом расспрашивал. Я рассказал все, как было; а он объявил мне, что всем этим польским мерзостям на Руси скоро будет конец. Опасаюсь, однако, что все сие, как на зло, сказано мне *первого апреля*. Начинаю верить, что число сие действительно обманчиво.

*7-го сентября*. Первое апреля на этот раз, мнится, не обмануло: Конаркевича и Непокойчицкого обоих перевели на жительство в губернию.

*25-го ноября*. Наш городничий с супругою изволили выехать: он определен в губернию полицмейстером.

5-го декабря. Прибыл новый городничий. Сей уже не только имеет жену польку, но к тому еще и сам поляк. Называется капитан Мрачковский. Фамилия от слова *мрак*. Ты, Господи, веси, когда к нам что-нибудь от *света* приходиться станет.

9-го декабря. Был сегодня у нового городничего на фрыштыке. Любезностью большой обладают оба, и он, и жена. Подвыпив изрядно, пел нам: „Ты помнишь ли, товарищ славы бранной?“ А потом сынишка, одетый в русской рубашонке, тоже пел: „Ах мороз, морозец, молодец ты русский“.

20-го декабря. Нет, первое-то апреля не только обманчиво, а и загадочно. Не хочу даже всего со мною бывшего в сей приезд в губернию вписывать, а скажу одно, что руган и срамлен был всячески и только что не бит остался за мое донесение. Не ведаю, с чьих речей прямо накинудись на меня, что „ты, дескать, уж надоел своим сутяжничеством; не на добро тебя и грамоте выучили, чтобы ты не в свое дело мешался, ябедничал да сутяжничал“. Сердцеведец мой! Когда ж это я ябеды пускал и с кем сутяжничал? Но ничего я и отвечать не мог, потому что каждое движение губ моих встречало грозное „молчи!“ Избыхся всех *лишних* и се возвратясь сию и твержу себе то слово: *молчи*, и вижу, что слово сие разумно. Одною единым, единого не понимаю, отчего мой поступок, хотя, может быть, и неосторожный, не иным чем, не неловкостию и необразованностию моею, изъяснен, а чем бы вам мнилось? Злопомнением, что меня пьяным не напо-

или, к чему я, однако, благодаря моего Бога, и непривержен? От малого сего к великому заключая, припоминаю себе слова французской девицы Шарлоты Кордай д'Армон, как она в предказанном письме своем писала, что „у новых народов мало патриотов, кои бы самую простую патриотическую горячность понимали и верили бы возможности чем-либо ей жертвовать. Везде эгоизм, и все им объясняется“. Оно бы, гляючи на одних своих, пожалуй, и я заключить сие склонен; но имея перед очами сих самых поляков, у которых всякая дальняя сосна своему бору шумит, да раскольников, коих все обиды и пригнетения не отучают любить Руси, подумаешь, что есть еще и любовь к отечеству своему. Вот до чего домыслишься!.. Однако звучно да будет мне по вся дни сие слышанное мною: *молчи*.

2 января 1849 года. Ходил по всем раскольникам и брал у ворот сребреники и злотницы. Противиться мне не время; однако же минутами горестно сие чувствовал; но делал ради того, дабы не перерядить попадью в дьячихи, ибо после бывшего со мною и сие возможно. Был и у городничего: он все со мною бывшее знает и весьма меня на речах сожалел; а что там на сердце, про то Богу известно. Но что поистине достойно курьеза и смеха, то это выходка против меня судейши. „Правда ли, – спросила она меня, – что вы доносили на поляков? Как это низко. Вы после этого теперь не что иное, как ябедник“, а я ей на это отвечал: „А вы после этого не что иное, как дура, да еще и русская“. Рассуждаю, от-

чего она так сказала, и нахожу, что всего не семь смертных грехов, а восемь, и восьмой из них должен называться *рыхлость*. Это наш грех, русский, им же все мы грешим и за честь себе им грешить поставляем. Опять одни раскольники не так. Достоин ли сие, что я все завидую характерам моих противников?

*1 января 1849 г.* Год прошел тихо и смиренно. Ждал неприятностей от судьбы, да все обошлось прекрасно: мы, русские, незлопамятны, может потому, что за нас и заступаться некому. В будущем году думаю начать пристройку, ибо вдался в некоторую слабость: полюбил преферансовую игру и начал со скуки курить, а от сего траты. Курил спервоначала шутя у городничего, а ныне и дома всею этою сбруею обзавелся. Надо бы бросить.

*1850 год.* Надо бросить. Нет, братик, не бросишь. Так привык курить, что не могу оставить. Решил слабость сию не искоренять, а за нее взять к себе какого-нибудь бездомного сиротку и воспитать. На попадью Наталью Николавну плоха надежда – даст намек, что будто есть у нее что-то, но выйдет сие всякий раз все к первому апрелю подходящее. Да рассмотрев себя, нахожу, что и сам становлюся стар и жирею.

*Август месяц.* Сделал я себе добрую вставку: собирал, собирал по грошу да по алтыну и, дабы не истратились по мелочи, разменял на серенькие и хватил шилом патоки: оказались все три фальшивые. Ахти горе мне великое! Плакал, да жег; но потом сам немало над своими слезами смеялся – что

за малодушие.

*27 октября.* У нас в городе открыты фальшивые деньги в большом количестве. Пало подозрение поначалу на арестантов; но видно, нечто иное таится: Мрачковский внезапно отставлен от должности и поехал в губернию.

*20 февраля 1853 года.* Благородное дворянство избрало нам нового исправника, друга моего пана Непокойчицкого. Он женился на Кропотовой и учинился нашим помещиком, а ныне и исправником. Все сие, полагаю, интриги да жратва устроили. Зато предводителем избрали Плодомасова. Таким манером хоть через зерницу есть русская кость. Хвала тебе и за то, благородное дворянство.

*7 апреля.* Приехал новый исправник, пан Непокойчицкий, сам мне и визит сделал. О старой ссоре моей за „много ли это“ и помина не делает.

*20 мая.* Впервые читал у исправника русскую газету „Колокол“, господина Искандера. Речь смелая и штилистическая; но с непривычки несколько дико.

*2 июня.* Вчера, на день ангела своего, справлял пир. Думал сделать сие скромненько – по достоянию, но Непокойчицкий утром прислал целую корзину вина и сластей, и рому, а вечером все нагрянули, и Непокойчицкий, и новый городничий Порохонцев. Это весьма добрый мужик. Он, подпивши зело-зело, стал вдруг меня с Непокойчицким мирить за старое, и я помирился и просил извинения, и много раз с ним поцаловался. Не знаю, к чему мне было сие делать, если

бы сам не был тоже в подпитии. Сегодня утром выражал о сем Порохонцеву большое сожаление, но он сказал, что не надо о том жалеть, когда подпивши цалуешься, ибо это лучше, чем выпив подерешься. Все это так, но все-таки досадно. Служивши сегодня у головы молебен, сам себя поткал в нос кропилом и назидательно сказал себе: „не пей, поп, вина“.

*23 августа.* Читал записки Дашковой и о Павле Петровице. Очень все любопытно. С мнениями Дашковой во многом согласен; но что до Петра, о том думаю иначе. Однако, спасибо Непокойчицкому, что рассеивает этими книгами мою сильную скуку.

*9 сентября.* Чуть не размолвился с Непокойчицким на свадьбе Порохонцева. Он начал, глумясь, спрашивать меня, что значит, что у нас при венчании поют: „живота прошиша у тебе“? Я хотел было отвечать, что он сие поймет, если ему когда-нибудь петлю под виселицей наденут. Но раздумал и смолчал.

*1 января 1857.* Совсем не узнаю себя. Шесть лет и строки сюда не вписывал. Житие мое странное, зане житие мое стало сытое. Перечитывая все со дня преподобия своего здесь написанное и вижу, сколь полезно подобное писание проверить. Достойно замечания, сколь я стал иначе ко всему относиться за сии годы и не могу сказать, чтобы о сем сожалел. Я пока уже третий год благочинствую, схоронив отца Николая. Сам не воюю, никого не беспокою и себе никакого беспокойства не вижу. Укатали сивку крутые горки, и про-

тив рожна прати более неохота. Но далеко, однако, несколько далеко уж зашел по сему пути и снова ткнут некоторым событием записать себе малую нотаточку. Все сии годы читал постоянно упомянутую газету „Колокол“ и прочее многое в этом роде за границую печатаемое и не раз высказывал удивление: как сии листы здесь получаются? Но спросить о сем считал за неловкость. Но вчерашнего числа случась у исправника при разборе губернской почты, разломил, балуясь, один конверт и в нем нашел эту газету – и весьма сконфузился, но исправник, смеясь, сказал мне: „Что же, ничего, отче, – ты наш брат Исаакий, с нами и поплясывай“. Вот как надо быть осторожным. Как стрекоза, не успел оглянуться, а уж тебя и мордой тычут, что и ты, мол, такой же! Теперь, может, и сам станешь объяснять „живота просиша“, так, как он по бесстыдству своему объясняет.

*20-го октября.* Наборы производятся с жестокою неправдою.

*2-го июня.* Прибыл новый дьякон из дьячков кафедрального собора, Ахилла Десницкий. Сей всех нас больше, всех нас толще, и с такой физиономией, и с такой фигурой, что надо радоваться, на него глядя. Голос имеет весьма добрый, нрава веселого и на первый раз показался очень почтителен. Но наипаче всего весел приятностью нрава. Предъявлял мне копию с своего семинарского аттестата, в коем написано: „Поведения хорошего, но *удобоносителен*“. „А что сие означает?“ – спросил я. „А то, – объяснил он, – что, будучи

в горячечной болезни в семинарском госпитале, приносил больным богословам водку“. И сие, мол, изрядно.

*9-го сентября.* Получил камилавку и крест, по чьему бы, мнилось, ходатайству? А все сие по засвидетельствованию Непокойчицкого о моей рачительности по благочинию. Ну, спасибо ему.

*7-го марта 1858 года.* Исход израилев был: поехали в Питер Россию направлять на все доброе все друзья мои, и губернатор, и его оный правитель, да и нашего Непокойчицкого с собою на изрядное место потянули. Однако мне его даже искренно жаль стало, что от нас уехал. Скука будто еще более.

*7-го декабря.* По указанию дьячка Сергея, заметил, что дьякон Ахилла многих проходящих богомольцев из честолюбия благословляет потаенно иерейским благословением и при сем еще особенно как-то поддерживает левой рукою правый рукав рясы. Сказал: дабы сего отнюдь вперед не было.

*18-го июля 1861 года.* Дьякон Ахилла опять замечен в том, что благословляет. Дабы уменьшить его подобие с священником, я изломал его палку, которой он даже и права носить по своему чину не имеет. Перенес все сие благопокорно и тем меня ужасно смягчил.

*1-го января 1862 года.* Даже новогодия пропускаю и ничем оставляю отмеченные. Сколь горяч был некогда ко всему трогаящему, столь ныне обычно несколько ко всему отно-



шусь. Протопопица Наталья Николаевна говорит, что я как-ков был, таков и сегодня: а где тому так быть! Ей, может, это в иную минуту и так покажется, потому что и сама сарри-ных лет дожила; но а мне-то это виднее... Тело-то, шут ли по нем – тело-то здорово и толсто, да душа-то корой обрастает. Вижу многое и непростительно равнодушествую. Вижу, что нечто дивное нам на Руси готовится и зреет: в судах лихо-имство ожесточенное; в молодых головах шатость; восьмой смертный грех все усиливается; а поляки сидят председате-лями и советниками, и командирами. Образуется нечто си-стематическое: народу то потворствуют и мирволят, то вне-запно начинают сборы податей и поступают тогда беспощад-но, говоря при сем, что сие „царская подать“. Дивно, что все-го сего как бы никто не замечает. Повсюду окрест, как Непо-койчицкий говорил, „тихо вшендзе, но цо то бендзе“. Из Пе-тербурга весьма нередко стали получать „Колокол“ и неко-торые печатные воззвания. Удивляемся, кто бы сим одолже-нием нас одолжил».

## **XIX. Другая половина савельевой книги**

*«2-го сентября 1862 года.* Приехал из губернии сын никитской просвирни Марфы Николаевой Омнепотенской, Варнавка. Окончил семинарию первым разрядом, но в попы идти отказался, а прибыл сюда в гражданское уездное училище учителем математики. На вопрос мой, отчего не пожелал

в духовное звание? коротко отвечал, что не хочет быть обманщиком. Не стерпев сего ответа, сказал ему, что он глупец. Однако, сколь ни ничтожным сего человека и все его мнения почитаю, но уязвлен его ответом, как ядовитою осою. Где мой проект о положении духовенства и средствах возвысить оное на достойную его ступень, дабы глупец над ним не глумился и враг его сему не радовался? Видно, правду попадья моя сказала, что, может быть, написал хорошо, да нехорошо подписался. Духовенство бедно, коснеет в невежестве и унижении и проникается большими пороками; а время настает, что в нем будет надобность. Шуткою сказанное отцом Николаем слово, что Русь во Христа крестилась, но еще во Христа не облекалась, только тем и легко, что оно сказано шуточно, а в существе оно слово жестокое. Кем же, однако, принесется ей сие облачение? Омнепотенский и все ему подобные уверяют, что народ и днесь и мудр, и силен. Не знаю, откуда они берут это. Что народ силен, сему не противоречу, но что он мудр в сие не верую, ибо сего ни в чем не вижу. Я этот народ коротко знаю и так его понимаю, что ему днесь паче всего нужно христианство. Каковы бы судьбы его ни были, а оно ему днесь нужно, и я сие говорю не потому, что я – поп, а потому, что это для меня ясно. В народе сем я вижу нечто весьма торгашеское: все он любит такое, из чего бы ему было что уступить. Калач пятак стоит, и сие каждому весьма ведомо, но он все еще не преминет случая за него поторговаться и два старых гроша сулит. Что же с ним сделают

твои правила, твои приффиксы, которые ты ему предложишь – да еще буде он их читать станет. А буде и прочтет, то что из него будет, когда он из них малую малость для своего обихода уступки потребует? Явится он виноватым перед твоими правилами, а ты его судью. Сила моя – иная сила. Не в рассуждении истин веры, а уже в нынешнем гражданском интересе говорю, что я могу более тебя сделать. Промеж нас с тобой полоса проведена. Ты, указывая на сию полосу, говоришь: „шту вниз сего, за то я карать буду“, и вся речь твоя о том, чтуу вниз идет, а я показываю, чту от нее вверх пошло и чему вверх границы нет, даже до смерти крестныя. Из твоего одну нить поступишь, и ты впал уже в зло и в преступление; из моего поступишь шагами гиганта, и ты все еще не худой человек, по твоим правилам. По твоим правилам можно идти, не опускаясь ниже черты отмеренной, и быть весьма злым и недобрым, и ты за сие не накажешь, ибо закон твой законную жестокость терпит и обстаивает, а мой судья – совесть и за незримое, и за оправдимое тобою карает. В чем же я обманщик, и чем я тунеядец, как ныне многим доказать хочется? Мой брат был Ослябя, проливавший кровь свою; мои братья на Украине и в Галиче народ от польщизны спасли и отратовали, а ты, глупец, меня обзываешь обманщиком? Кого сам я обманул в жизнь мою? Никого не обманул я и не кривил душою моею; но я уже стар, и мне оное давнее „молчи“ и поднесь памятно и будет памятно повеки. Но и сегодняшний день я не боюсь твоей гортани и сумею

заткнуть ее. Одно вижу, что устарел, однако, и вместо убеждения ставлю свою гневливость; а сие худо. Но как и не гневаться, когда вспомнишь, что всего ныне бываемого могло бы не быть и ослы не кололи бы своими спицами глаз наших за нестроение бедной семьи левитовой. Как не скорбеть и не гневаться, видя, что поп и дьяк в ином месте точно хорьки живут, и живут так на радость врагов нашего отечества и на радость разрушителей вроде сего Омнепотенского!

*3-го октября.* Познакомился у городничего с Александрой Ивановной Серболовой и весьма рад сему знакомству. На плевелах прозяб клас добрый. Что за ум, и что за сердце чувствительное! Полагаю, что такова должна была быть Дашкова или в сем роде. Разговаривали об Омнепотенском; она сказала мне, что это не его одинокая глупость, а что это такое учение, называемое – нигилизм. Стало, сие глупость, так сказать, коллективная. Обещала прислать мне два журнала, где это учение проводится.

*7-го ноября.* Прочитал бездну неразумия. Учение не новое: нечто заимствовано, вижу, от скептиков; нечто от циников; нечто же, самое глупое, свое добавлено и во едино смазано. Самое замечательное, в сих книгах встречал упоминание о книге „О сельском духовенстве“. Где бы сию книгу взять?

*16 ноября.* Серболова сказала, что книга о сельском духовенстве запрещенная. Несколько странно. Нам запрещена, а сии, как их называют, *нигилисты*, ее читают.

*22 ноября.* Ездил в губернию на чреду. При двух архиерейских служениях был сослужащим и в оба раза стоял ниже отца Троадия, а сей Троадий до поступления в монашество был почитаем у нас за нечто самое малое и, отстав от меня в синтаксисе, был из реторики за неспособностью исключен. Пустое дело, а, однако, это меня оскорбило. Но зато у него, как у архимандрита, нашлась желанная книжка „О сельском духовенстве“, и я ее с азартом у него же в келейницкой прочитал и дал за сие похитившему ее келейнику целковый. О, сколько правды! сколько ума и любвеобилия! Мню, что отец Троадий не все здесь написанное с апробациею и с удовольствием читает.

*14-го декабря.* За раннюю обедней взошел в алтарь Омнепотенский и просил отслужить панихиду. Удивился его богомольности, но облачился и вышел к жертвеннику. Удивление мое возросло, когда увидел здесь и судейшу, и всех поляков. И загадка сия недолго оставалась загадкою, ибо я тотчас же все понял, когда Ахилла стал по записке читать. Это я, выходит, отпел панихиду за декабристов. Вперед буду умнее, ибо хоша молиться за всех должен, но в дураках-то у дураков дважды быть несогласен. Причту не подал никакого виду.

*27-го декабря.* Ахилла изобличает в себе большую легкомысленность. Младенца, что призрел Пизонский, сей последний просил научить какому-нибудь стихотворному поздравлению для городского головы, а Ахилла, взявшись за

сие поучение, утвердил ему:

Днесь Христос родился,  
А Ирод царь взбесился:  
Я вас поздравляю,  
И вам того ж желаю.

Младенец так и отляпал, а теперь это ходит по всему городу.

*11-го января 1863 года.* Был страшный паводок и принесло откуда-то сверху неизвестное мертвое тело. Омнепотенский привел на вскрытие нескольких учеников, а потом в классе говорил: видели ли тело? Отвечают: видели. – А видели ли кости? – И кости видели. – И все ли видели? – Все видели, – отвечают. – А души не видали? – Нет, души не видали. – Ну, так где же она? – И решил им, что души нет. Я обратил на сие внимание зрителя и сказал, что не премину сказать об этом при директорской ревизии.

Вот ты, поп, уже и потребовался. Воевал ты с расколом – не сладил; воевал с поляками – не сладил, теперь ладь с этой дуростью. Ладь, ладь, ибо это уже плод от чресл своих возрастает. Сладишь ли?.. Погадай на пальцах.

*2-го февраля.* Болен жабою и не выхожу из дому, и уроки в училище вместо меня преподает отец Захария. Сегодня он пришел расстроенный и сконфуженный и со слезами от преподавания уроков вместо меня отказывается, а причина сему такая. Отец Захария прошлый урок в третьем классе

задал о промысле и, истолковав его, стал сегодня отбирать заданное; но один ученик, бакалейщика Лялина сын Алиоша, вдруг ответил, что „я только признаю Бога творца, но не признаю Бога промыслителя“. Удивленный таким ответом, отец Захария спросил, на чем он основывает свое заключение, и он отвечал, что на том, что в природе много несправедливого и жестокого, и на первое указал на смерть, посланную всем за грехопадение одного человека. Отец Захария, вынужден будучи так этого дерзкого ответа не бросить, начал разъяснять ученикам, что мы, по несовершенству ума нашего, сему плохие судьи, и подкрепил свои слова примерной посылкой, что если бы были вечны мы, то вечны же были бы и кровожадный тигр, и свирепая акула, и достаточно сим всех убедил. Но на вторых часах, когда отец Захария был в низшем классе, сей мальчик взошел туда и там при малютках опроверг отца Захарию, сказав: а что же бы сделали нам кровожадный тигр и свирепая акула, когда мы были бы бессмертны? Отец Захария по доброты своей и ненаходчивости только и нашелся ответить, что „ну, уж о сем люди умнее нас с тобой рассуждали“. Но это столь старика тронуло, что он у меня час добрый очень плакал; а я как на зло все еще болен и не могу выйти, чтобы погрозить этому дебоширству.

*13-го января.* Алиоша Лялин, будучи выпорон отцом за свое рассуждение с отцом Захарию, под лозами объявил, что сему первому вопросу и последующему ответу научил его учитель Омнепотенский. Негодую страшно; но Пуговкин

говорит, что выйти мне невозможно; что будто рецидивная *angina*<sup>2</sup> и затем проторю дорожку *ad patres*,<sup>3</sup> а сего бы еще не хотелось. Писал смотрителю записку и получил ответ, что Омнепотенскому им сделано замечание. Да, *замечание*. А променяй псалтирь старую на новую, то семью на год без хлеба.

*18-го января.* Омнепотенский отца Захарию заклевал. Научил Лялина спросить его: правда ли, что пьяный человек скот? „Да, скот“, – отвечал отец Захария. – „А где же его душа в это время?“ Отец Захария смутился и ответил только то, что: „А ну, погоди, я вот еще и про это отцу скажу“. Что же это за каналья, этот просвирнин сын!

*19-го января.* Лялин вновь выдрал сына лозами и с ним вместе взял его вовсе из училища, сказав, что здесь не училище, а разврат содомский. Ненавижу жабу, которая мне в эти минуты стиснула горло. Вот живой пример, что такое может сделать одна паршивая овца, если ее в стадо пустят! Вот наука и к тому, что музыканту мало трезвости, а нужно и искусство. Первый пример дает Омнепотенский, второй – мой отец Захария. Ради Омнепотенского из школы детей берут, а отец Захария, при всей чистоте души своей, ни на что ответить не может. Вот когда уши мои выше лба хотят вспрыгнуть. Да, теперь чувствуешь ли, разумный гражданин, что я не совсем дармоед и не обманщик? Чувствуешь

---

<sup>2</sup> Ангина (*лат.*).

<sup>3</sup> К предкам (*лат.*).



ли? И ежели чувствуешь сие, то чувствуешь ли то, что я хил, стар и отупел... А что еще там на смену мне растет? Думай о них, брате мой, думай о них, искренний мой и ближний, зане враг внюду нас встал, и сей враг плоть от плоти наша. Ныне он глуп и юродив, в варнавкиной кожуре, но старый поп, опытом наученный, говорит тебе: на страже стой. Где теперь Мрачковский? где Непокойчицкий и оный мой правитель? Какого они ныне плана держатся? Сколь они умнее стали с тех пор, как реготали в храме и пели на крыльце „много ли это?“ вместо *многая лета*? Пойди ноне лови их! Сунься... Они тебя поймают. Не страшусь Омнепотенского и братии его; но страшусь за мать мою родину, да не перерядятся когда-либо сии дурни в иную шкуру.

21 января. Скажешь себе слово под руку, да и сам не обрадуешься. Еще и чернило с достаточною прочностью не засохло, коим писал, что „лови их, они сами тебя поймают“, как уже и изловлен. Сегодня пришел ко мне городничий Порохонцев и принес копию с служебной бумаги из Петербурга. Писано, что до сведения высшего начальства дошло о распространении в наших местах газеты „Колокол“ и прочих секретных сочинений и что посему вменяется в обязанность распространение сих вещей строго преследовать; а подписано наш Непокойчицкий! Уж это не сам ли он шутики сии шутит?

20. Так это и есть, как предполагалось: это все Непокойчицкий сам зудит и сам почесывает. Сегодня городничий по-

лучил от него письмо насчет продажи хлеба в имении жены его, и там же в том письме приписочка о *колокольном звоне* столь ясная, что и загадывать нечего, кто шлет; а вдобавок к сему и еще один номер сей газеты да и в казенном пакете. Я и читать не стал, хотя Порохонцев над сим всячески забавлялся. Много бы дал, чтобы не быть в сей компании чтецов. Пользы сим чтением приобрел для себя нисколько, а будто чем с ними в одно спутан.

27. С Омнепотенским справы нет. Рассказывал на уроке, что Иона пророк не мог быть в чреве китове, и еще нечто о Пресвятой деве.

2-го февраля. Почтмейстер Тимофей Иванович, подпечатывая письма, нашел описание тугановского дела, списанное городничим для Непокойчицкого, и все сему очень смеялись. На что же все сие делают?

14-го февраля. Все еще болен и не выхожу. Читал книгу журнала, где в одной повести выводится автором поп. Рассказано, как он приехал в село и как старается быть добрым и честным, но встречает к тому ежечасные препятствия. Хотя все это описано вскользь и без знания дела, но весьма сему радуюсь, что пришла автору такая мысль. Настал час, чтобы светские люди посмотрели на нас, а мы в свою очередь в их соображения и стремления вникли, не рассуждая только по мамону, да по семинарскому богословию. Особенно мне сие приятно, что я предвидел, что рано или поздно сие будет, а ныне далее того предусматриваю, что будет что-либо и боль-

ше, с большею любовью к сему делу совершенное.

*17-го февраля.* Омнепотенский вывел меня из терпения. Я его и человеком более вовсе считать не могу, после того, что он сделал. Это все, до чего безумие довести может. За болезнью учителя Гонорского, Омнепотенскому поручено временно читать историю; а он сейчас же начал толковать о безнравственности войны и относил сие все прямо к событиям в Польше. Но этого мало ему было, и он, глумясь над цивилизациею, порицал патриотизм и начала национальные, а далее осмеивал детям благопристойность, представляя ее во многих отношениях безнравственною, и привел такой пример сему, что народы образованные скрывают акт зарождения человека, а не скрывают акта убийства и орудия, нужные для первого, таят, а ружья войны на плечах носят. Чего сему глупцу хочется? По правде сие столь глупо, что и подумать стыдно.

*18-го февраля.* Приехал директор. Я не вытерпел, и хотя лекарь грозил мне опасностью, однако вышел и говорил ему о бесчинствах Омнепотенского; но директор всему сему весьма рассмеялся. Что это у них за смешливость! Обратил все это в шутку и сказал, что от этого Москва не загорится; а впрочем, добавил с серьезною миною: „Я ему замечу; но где же мне прикажете брать других? Они все ноне такие прибывают“. И вышел я же в смешных дураках, как бесполезный хлопотун. Видно, так этому и быть следует. Подождем, авось Омнепотенский новую нравственную моду покажет и начнет

носить к плечу вместо ружья нечто другое и будет сам своему ученому начальству достойную почесть отдавать.

*19-го февраля.* И вправду я старый шут, верно, стал, что все надо мною шутят. Пришли сегодня ко мне лекарь с горюничим, и я им сказал, что здоровье мое от вчерашнего выхода нимало не пострадало; но они на сие рассмеялись и отвечали, что лекарь это шутя продержал меня в карантине, ибо шел об заклад с поляком Августом Кальярским, что я месяц просижу дома. Неужто же я уже только на посмешку годен? Удивительно, что это за шутливость всеми обладает.

*23-го апреля.* Дьякон Ахилла явился на гулянье в низенькой шапочке и с тросточкой. Заметил, чтобы сего вперед отнюдь не было. Оправдывался тем, что это ему всю сбрую подарил Кальярский. Кальярский начинает давать деньги под залоги.

*7-го мая.* Освящен костел, и в нашем куту загудели органы. Костел очень маленький, но для уксусу гнездо невеличко и требуется.

*14-го мая.* Омнепотенский и в моем присутствии мало изменяется. Добыв у кого-то из раскольников весьма распространенную книжечку с видами, где антихрист изображен архиеерею, в нынешнем облачении, изъяснял, что Христос был социалист, а мы, попы и архиереи, как сему противимся, то мы и есьмы антихристы. Противу сего я умышленно заговорил о мусульманском учении и привел мнение некоего муллы, ожидавшего чувственного явления антихриста в

образе осла, то есть самого безмозглого животного, коим и представил Омнепотенского. Однако все сие меня очень расстроило, и я жажду освежиться.

*20-го июля.* Отлично поправился, проехавшись по благочинию. Так свежо и хорошо в природе, на людях и мир и довольство замечается. В Благодухове крестьяне на свой счет поправили и расписали храм, но опять и здесь со стороны живописца явилось нечто в игривом духе. Дал отцу Якову за сие замечание.

*11-го мая 1863 года.* Позавчера служили у нас в соборе проездом владыко. Отец Захария был назначен сказать проповедь и изготовился, но выйдя на амвон, только и произнес: „Было время, когда и времени не было“, и за сим стал, и прильне ему язык к гортани, и, переконфузившись до остатка, красноречиво умолк. Спрашивал я отца Троадия: стерта ли в Благодухове известная картина? И узнал, что картина еще существует, чем было и встревожился, но отец Троадий успокоил меня, что это ничего, и шутливо сказал, что „это в народном духе“, и еще присовокупил к сему некоторый анекдот о душе в башмаках и опять все покончили в самом игривом.

*20-го июня.* Ездил в Благодухово и картину велел состругать при себе: в глупом и народному духу потворствовать не нахожу нужным. Узнавал о художнике; оказалось, что это пономарь Павел упражнялся. Гармонируя с духом времени в шутливости, велел сему художнику сесть с моим кучером на

облучок и, прокатив его сорок верст, отпустил *pedibusque*<sup>4</sup> обратно, чтобы имел время в сей проходке поразмыслить о своей живописной фантазии.

*12-го августа.* Дьякон Ахилла все давно что-то мурлычит. Недавно узнал, что это он вступил в польский хор и поет у Кальярского басом польские песни. Дал ему честное слово, что донесу о сем владыке; но простил потому, что вижу, что это просто учинено им по его легкомыслию.

*8-го сентября.* Дьякон Ахилла приходил с плачем и, стоя на коленях, исповедывал, что та польская песня, что он пел, есть гимн революции; но он до сегодня слов ее не понимал. Видя его искреннее раскаяние, простил его и дал слово о сем никогда не вспоминать; а городничему только заметил, как не стыдно, что и он тоже в этих пениях принимал участие. Также был очень сконфужен. Советовал им держаться от поляков подалее.

*12-го октября.* Был у нас на ревизии новый губернатор. Заходил в собор и в училище и в оба раза непременно требовал от меня благословения. Человек русский и по обхождению и по фамилии. Очень еще молод, учился в правоведении и из Петербурга в первый раз всего выехал, что сейчас и заметно, ибо все его интересует. С особым любопытством расспрашивал о характере столкновений духовенства с властью предводительскою; но, к сожалению, я его любопытства удовлетворить не мог, ибо у нас что уездный Плодомасов,

---

<sup>4</sup> Пешком (*лат.*).

что губернский Туганов, мужи достойные, и столкновений нет. Говорил, что присутствию поляков не намерен придавать никакого значения, и выразился, что „их просто надо игнорировать“, как бы их нет, ибо „все это, – добавил, – должно стусеваться. Масса их поглотит, и их следа не останется“. При сем не без красноречия указал на непрактичность придавать им значение, ибо (его слова) все это только раздувает несогласие и отвлекает правительственных людей от их главных целей. Примером сему поставил недавних *нигилистов*, во вражде к коим некоторые противодействующие им издания Бог знает как далеко заходили; тогда как административные умы видели все это яснее и беспристрастнее и, не предаваясь партийной страстности, во всем щадили то, что в нем было годного, и обратили все сие в пользу своей системы. При сем он, развивая мысль свою о нетерпимости, привел на память место из речи заслуженного московского профессора Грановского „О современном состоянии и значении всеобщей истории“. Я записал с его слов это место: „В самых позорных периодах жизни человеческой, – гласит речь Грановского, – есть искупительные, видимые нам на расстоянии столетий стороны, и на дне самого грешного перед судом современников сердца таится какое-нибудь одно лучшее и чистое чувство“. Рекомендовал прочесть некоторые статьи о крайних направлениях в литературе и выразил намерение поднять наши „Губернские ведомости“, дабы сделать по мере возможности – получение столичных газет в губернию из-

лишним, по крайней мере, для людей недостаточных. При моих рассказах о нашем Омнепотенском, улыбаясь, сказал, что это дурак, в чем я с ним и согласился. Много рассказывал о нравах рассыпавшегося нигилизма и изрядно над теми нравами издевался. После довольно долгой и вполне приятной беседы с ним я убедился, что это человек с большими способностями править, и впал в раздумье: ради чего я это, бывало, шумлю и волнуюсь, когда есть еще такие люди, при которых любящий отечество человек может спать спокойно, или, как Гоголь шутливо говорит, „брать метлу, да мести лишь *свою* улицу“. Действительно, мы уж тоже иногда любим смотреть очень мрачно. Как губернатор сказал: „все Гераклиты да Демокриты – одни весьма плачут надо всем, а другие не в меру смеются“. Нужно относиться поспокойнее. Пошлые нигилисты пали же с шумом, и наш Непокойчицкий, бедняга, говорят, взят и заключен в крепость, а вот является человек совсем иного склада и стоит во главе губернии и с властью.

*20-го января 1863 года.* Только что возвратился из губернии и привез оттуда себе последнюю загвоздку. Хотя эта загвоздка лба моего прямо не касается, однако там нечто такое засело, чего не вытащишь. Уже неоднократно слышно было здесь многое о контрах, возникших между новым губернатором и Тугановым, но все это и до сих пор не известно достоверно, отчего происходит. Говорят, по наделам крестьянским; а ведь у Туганова чести много, да и гонору с Арарат-



скую гору. Но случилось другое дело: отставной солдат с чудотворной иконы Иоанна-воина венец снял и, будучи взят с тем венцом в доме своем, объяснил, что он этого венца не крал, а что, жалуясь на воинскую долю, молил святого пособить ему в его бедности, а святой якобы снял венец, да и отдал, сказав: „мы люди военные, но мне сие не надо, а ты возьми“. Стоит ли такое объяснение внимания какого? Но рассуждено иначе, и от губернатора в консисторию последовал запрос: могло ли происходить таковое чудо? Удивительное дело: смеха ради, что ли, это сделано или еще того хуже!

*20-го августа.* По случаю распространившегося по губернии вредоносного поветрия, в „Губернских ведомостях“ напечатали, „чтобы крестьяне остерегались шарлатанского лечения знахарей и бабок, нередко расстраивающих здоровье навеки, а обращались бы тотчас за пособием к местным врачам“. Что это такое? Где сии *местные врачи*? На триста верст по одному. Припоминая давно читанную мною старую книжечку английского писателя Стерна „Жизнь и мнения Тристрама Шанди“, решаю, что по окончании нигилизма у нас начинается *шандеизм*, ибо сие, по Стернову определению, такое учение, которое „растворяет сердце и легкое и вершит очень быстро многосложное колесо жизни“. И в этом еще более убеждаюсь, потому что сей Шанди говорил, что если бы ему, как Санхо Пансе, дали бы выбирать для себя государство, то он „выбрал бы себе не коммерческое и не богатое, а такое, в котором бы непрестанно смеялись“. Все это как раз

к нам подходящее: и не богаты, и не тароваты, а смешливы гораздо.

Однако смех сей мне уже в последнее опостылел, и я заворачиваю мою книгу сколь возможно на продолжительнейшее время и вопрошаю мою Русь с писателем Гоголем: „Скажи мне, куда несешься ты? Дай ответ – и не дает ответа“».

Это была последняя запись между теми, которые Савелий прочитал, сидя над своею синею книгою; затем была чистая страница, которая манила его руку «занотовать» еще одну «нотаточку», но протоиерей не решался авторствовать. Чтение синей книги, очевидно, еще более растрепало и разбило старика, и он, сложив на раскрытых листах календаря свои руки, тихо приник к ним лбом и завел веки.

Пробыв в таком положении более получаса, отец Савелий медленно восклонился, провел по лбу рукою, принес себе с наугольного столика медную чернильницу и крупно написал: «9-го июня 1864 года».

Выставив дату, отец Савелий задумался, покусал концы переброшенной через ладонь седой бороды и начал заметку.

Это была заметка следующего содержания:

«Сего числа Ахилла дьякон побил слегка мещанина Данилку за то, что сей странно и его званию вовсе несвойственно умничал о явлениях природы. Третьего дня мы служили молебен с коленопреклонением о дожде, и вчера прошел над нами широкою полосою самый благодатный дождик, ожививший поля и обрадовавший падший дух земледельцев. На-

род несказанно благодарил за сие Бога и приписывал ниспослание этого дождя своему молению; но Данилка опровергал это и объяснял это от естества. Пустое бы, по-видимому, дело; и по глупости того, кто сказал, даже скорее смеха, чем гнева достойное, но мне и его значение ныне представляется весьма знаменательным. Не особенно важное само по себе, оно получает некоторую изрядную знаменательность в связи с другими явлениями. Так! Пришла пора, которой ждал я: пришел час, который предрекал мне дух мой. Ныне опять мне мерещится ученый мулла, ждавший антихриста в образе ослем. Да, пришел час, пришел... и благо нам, если не прошел он уже, и не прошел, яко тать в нощи, что мы его и встретили, да не заметили. А весьма может быть, что это именно и так, и вот почему я сие заключаю.

Не занотовано мною своевременно, что записка моя о быте духовенства, наконец, возымела значение. Весь почти апрель месяц пробыл я по сему делу в губернии. Был туда приглашен к совещанию о сем предмете как автор сочинения своего. Поначалу все делу сему весьма льстило. Предводитель Плодомасов, приехав ко мне нарочито, известил меня об этом с радостью, привез как мне и отцу Захарию, так и нашему дьякону весьма ценные трости в подарок, на память о всплытии моей записки; я ехал уж, конечно, еще с сугубою веселостью – скакаше-играше; ну, про то же поскакав и поиграв, и домой возвратился. Нападает на меня боязнь, чтобы все это не повернулось снова до облак ногами, а вниз го-

ловой. Записка моя во многом апробована и, может быть, составит нечто не малозначительное в общем мнении, которое на сей счет выработается. Но к чему теперь все сии мнения, буде на осуществление их нужно столько же времени, сколько нужно было той записке, чтобы пройти под землю и выявиться? Рутинный раскол неким образом нас прогрессивнее. Со многими и с весьма многими я был уверен, что сила его в гонении, на него воздвигаемом. Оказалось, что главная сила его кроется инуде. Его батьки и распопы столь же народнее нас, сколь мы их официальнее. Гонения, волею царствующего монарха, к чести царствования его и к славе времени, престали, а успех раскола в очию идет и идет. Видимым делом целые села пристают к нему; церковные на дух ходят ради близира, „страха ради иерейского“ (сие говорится в насмешку), и во многих начинается забота открыто просить о дозволении принять старую веру, с объяснением притом, что новая была содержима не искренно, а противодействия сему никакого, да еще сие и за лучшее разуметь должно, ибо, как станут опять противодействовать вере полициею, то будет последняя вещь горче первой. В день первого чтения записки моей отец Троадий объявил, что владыко оскорблены известием каменского благочинного, что по селу Великой Радогощи во все семь седмиц поста было из двух тысяч душ на духу двадцать семь человек, и то из своих же дьячковских семейств. Я сам молчу только о том, что у себя под рукою вижу. Страшусь сказать, что совокуп-

ным бездействием своим и невниманием мы постепеннейше постепенно приблизились к возможности потерять некогда столь просто врученное нам единым разумом Семена Деева. В газетах прочел пустословное радование по случаю того, что заграничные наши попы две, не то три штуки католических патеров привлекли в православное священство. Чего ради трата сия миру бысть? – спросил бы. Или не мнится ли кому, якобы у нас своих мало; или якобы сим вера торжествует. А сего вот, что народ целыми массами к расколу отхлынивает, сего не видят; а сего, что наши баре доброй волей за границей семьями католичатся, то и сим оные заграничники не похваляются. Я сам у Плодомасова католический молитвенник видел; ксендз Збышевский у него в ласках, и ко мне и к отцу Захарию у него вдруг настало внимание несказанное... Вниманье-то я брал за истину, но ныне опасаясь, что это марево в пустыне аравийской, что в нем лишь утомленный долгожданьем взор мой видит озер и рек желанных очертанье... А тут... в корень... в самую подпочву спущены мутные потоки безверия: не лев рычит, а шакалка подлая, Данилка-комиссар щекает... Но идет... Господь, над стариком твоим умиласердись: я стар, я уж тупею разумом и становлюсь труслив. Нет; этого не может быть. Мне это с трусости моей все кажется, что нам повсюду расставлены ехидство, ковы, сети; что на погубление Руси где-то слагаются цифровые универсалы... что мы в тяготе очес проспали пробуждение Руси... и вот она встала и бредет, куда попало... и

гласа нашего не слушает, зане гласа нашего не ведает... Так все сбирался я, старик, увидеть некое торжество; дожждаться, что вечер дней моих будет яснее утра, и чаяний сих полный сидел, ряды годов, у великой купели, неустанно чающе ангела, который снизойдет возмутить воду сию и... скажи ми, Господи, когда будет сие? Скажи, чего лишаяюся аз, что этого не увижу? Нет; скажи мне, *как* сему быть можно, ибо сей возможности разум мой уже не постигает. Должна же восходить заря после полунощи; разбитые оковы пахаря, и суд, вблизи обещанный, уж не марево; но что ж такое, что сами себя мы никак сообразить не можем? Где наш хоть немудрый смысл, да крепкий? Мест ему много, да на шутки немало расходится. Мой Ахилла в простоте сердца, а преязвительно сказал, что вера наша в Польше называется холопскою, а здесь скоро будет называться форменною, а партикулярно одни пойдут в раскол, другие – в католичество. Так это и положено, так и наложено. Увидав недавно у Плодомасоза номер французской газеты „Union Chrétienne“, что французам наше православию втолковывает, я поначалу улыбнулся, но, слова Ахиллы вспомнив, прислонился лбом к оконному стеклу, дабы слез моих не видно было, и плакался о сем горько. Пиши, друже! пиши, витиеватый заграничник, свой „Union“, а мы, простецы-гречкоеды, станем оплакивать великую *рознь* нашу. „Униона“ твоего я не прочел, ибо и с дикционером, думаю, ныне уже сего не одолел бы; но все-таки мню, что пишешь ты изрядно, ибо из глаз моих, кои уже пятьдесят лет не

плакали, писание твое, одним видом своим, исторгло целые потоки. Одной услуги от такого „Униона“ чаял я, что хоть могу его листом закрыть мои слезы от ксендза Збышевского, но и в сем лист твой оказался несостоятельным: слеза моя, капнув на него, прососала его насквозь, на ту сторону, с которой смотрели на него ксендзовские очи ксендза».

Отец Савелий поставил точку, засыпал страницу песком и, тихо ступая ногами, обутыми в одни белевые носки, начал ходить по полу, стараясь ни малейшим звуком не потревожить сна протопопицы. Он приподнял шторку у окна и, поглядев за реку, увидел, что небо закрыто черными тучами и каплют редкие капли дождя. Постояв у окна, он еще припомнил нечто и вместо того, чтобы лечь в постель, снова сел и начал выводить своим круглым почерком:

«Достоинно слез и смеха, как все, всякий шаг и всякое воззрение подтверждает, что нечто странное совершается во всех умах и деяниях. Сегодня, возвращаясь домой, встретил Константина Пизонского, который шел, поникнув головою, и по щекам его струились обильные слезы. Спросил у него причину слез этих, сказав, не новое ли еще что в печальной жизни Маслюхиных? Но он, на сие махнув рукою и пожав плечами, отвечал на вопрос мой, что его приемец, младенец, пропал. Ушел младенец и скрылся, дабы не примерять лишь новой одежды, сшитой для него Пизонским. „Для чего же он не хочет надеть сей одежды?“ – спросил я. – „А для того“, – отвечал Пизонский, – что „Неверка смеется!..“ И сею

причиною все объясняется для него; ради некоей Неверки дитя делает и собственное утруждение, и неприятность воспитателю. А кто сия Неверка? – canis, пес, в просторечии собака, и ничего более. Ведь воистину смешно, что придаешь сему значение; воистину малодушество, что всякое лыко в строку начинаешь плесть; а меж тем, оно само как-то плетется и становится тебе якобы неким иносказанием. От малого заключаешь к великому, от Малвошки, Данилки и Омнепотенского передаешься мыслями ко всем ближним и присным, а от своего городка ко всей земле русской. Ибо чем же сей уголок земли не образчик всей земли, какова она есть? Это лоскут, что краснорядец для образца франтихе отрезывает. Да, да, да; так размышляешь и трепещешь, чту и как это будет, когда и до нас дойдут царские льготы и вольности? Страшишься, да не будет ли чего по пословице: „Царь жалует, а псарь разжаловывает“. На сих днях буду видеть Туганова и с ним обо всем побеседую. Сей один истинный болярин, не ожидающий, чтобы что-нибудь совершилось само собою, как все прочие с руками сложенными, чающие движения воды; но и на сего глядя, ныне думаю: совершишь ли ты что тебя достойное? И слышу как бы голос, подсказывающий: *не совершишь*.

Боже мой и творче и создателю! прости меня, старика твоего, во всем, по старости своей, сумнящагося, и обмани сомнения мои! Открой ушеса наши и очи, дабы мы не просмотрели и ангела твоего, что придет целебною силою возму-



тить воду купели, и не посмеялись бы ему, как оный младенец посмеялся благодеящему ему Пизонскому. Боюсь я сего, Боже мой, боюсь сего, зане стареясь уподобляюсь младенцу и смущает меня страхом отовсюду слышимый смех Неверки».

Дописав эту заметку, отец Савелий окончательно сложил свою синюю книгу, запер ее в шкаф и, улегшись на свой диван, покрыл лицо чистым цветным фуляром, который ему подала с вечера протопопица.

Короткая летняя ночь уже проходила; тучи разошлись, и на востоке начинало брезжить, а у угла оконного переплета тихо прожужжали две переменявшиеся местами мухи.

Отец Савелий заснул и увидел себя молодым, свежим, с чертами, в которых не было нынешней сухости и резкости. Он шел в широкополой пуховой шляпе, с портфелем, в котором лежала его записка о состоянии духовенства, и с дорогою тростью, подаренною ему предводителем Плодомасовым. Перед ним было широкое крыльцо, по которому он должен был войти в огромный дом и отстаивать там свои мнения, в самом почтеннейшем и влиятельнейшем собрании. Он идет смелою, быстрою поступью; на щеках его играет румянец, знак нетерпеливого волнения; он помнит все, что он хочет сказать, и решает себе говорить твердо, смело, открывать язвы до живого слоя и с этим заносит ногу на первую ступень; но из-под этой ступени неведомо как выскакивает насмешливая Неверка. Она смеется над его тро-

стью; смеется над его дороною тростью с надписью по набалдашнику: *Жезл Ааронов расцвел*, тогда как отец Савелий имеет самые основательные причины не прощать ни одного легкомысленного взгляда на эту трость с приведенною надписью. Он не выдержал и замахнулся жезлом; но хитрый пес бросается ему под ноги, путается в полах его длинной одежды и, сбив его с ног, уносит в зубах его портфель с заветною запиской.

– Неверка! – кричит, поднимаясь бежать во все ноги, отец Туберозов. – Неверка! Неверочка... я тебе дам! Вот я тебя догоню!..

Не догнать! видит отец Савелий и начинает кричать: – Хлеба, Неверочка! на тебе хлеба! хлеба! хлеба!..

Но Неверка сыта, и не соблазнить ее хлебом.

Отец Савелий задохнулся и упал. Лежа ниц лицом, он слышит окрест себя шум, слышит глумливый крик и насмешки над «борзым попом» и узнает в этом хохоте все знакомые голоса, начиная голосом тродиева келейника и кончая трубным трещанием Ахиллы.

– Глупцы! Чего вы смеетесь? Над собой смеетесь! – восклицает, поднимаясь, обиженный Туберозов, и вдруг у него мелькнуло в голове, что он совсем не Туберозов, а какой-то актер; что он прыгает в Бобчинского фрачке и что у него сверху носа небольшая нашлепка.

На счастье отца Савелия, он в это время услышал звонкое «цыпы! цыпы! цыпы! цыпы!», которые выкрикивала на кры-

лечке мать-протопопица, и, проснувшись, согнал муху, сладостно жалившую его в кончик носа, где снилась нашлепка.

– Вот, слава богу, что все это сон! – подумал, севши на край дивана, отец Туберозов.

С этим он встал, пересел в одном белье с дивана к открытому окошку и начал смотреть на клубившуюся серым туманом реку и на росистую бакшу Константина Пизонского.

## **XX. Пушка гремит сама по себе, а mortar сама по себе**

Отец Туберозов не один в Старом Городе проводил так беспокойно ночь с девятого на десятое июня. Был другой человек, который во всю эту ночь и вовсе не преклонял головы к изголовью и тоже придумал нелегкие думы: этот человек был Константин Ионыч Пизонский. Чуть только отец Туберозов сел у своего окна и взял в руки всегда помещавшуюся на столике старую морскую трубу, он увидел, что Пизонский тихо ползет по межам с восточного берега своего острова к юго-западному, приходившемуся как раз против течения. В это же время и Пизонский разглядел в окно отца Туберозова без всяких оптических инструментов, и оба они одновременно друг другу поклонились.

Наш старый знакомый Константин Ионыч очень мало переменился в течение тех восемнадцати лет, которые прошли со дня поселения его на необитаемом острове. Он, как завя-

ленная тарань, все держится в одной поре и в одном виде. И сегодня, как и восемнадцать лет назад, он так же худ, длинен; у него все тот же сломанный нос, те же круглые птичьи глаза и синие губы, а череп его ныне гол, как отчищенный бычачий пузырь. В самом Пизонском нет никакой перемены; но зато велика бесконечно была перемена, происшедшая в эти годы с его островом. Этот остров был теперь самый цветущий уголок из всего старогородского царства.

Не говоря о роскошнойшей бакше, покрывающей сплошную буйною зеленью всю площадь острова, здесь уже образовалось весьма живописное поселение. Построек этого поселения не рассмотришь, пока не нырнешь сквозь густую купу надбережной ветлы, которою остров зарос решительно со всех сторон и представляется теперь плавучим садом или зеленой баркой с бортами из живой изгороди.

Вступив на остров, вы видите на самой его середине густую, почти непроницаемую купу кленов, лип, тополей и рябин. Все эти деревья столпились кучею в небольшой ложбинке, образовавшейся как раз посередине острова в таком удобном для защиты человеческого жилья порядке, что вы не усомнитесь подумать, что они здесь выросли не самосевом, и на этот счет вы нисколько не ошибетесь. И эти клены с липами, и эти рябины насаждены—здесь восемнадцать лет тому назад руками Константина Пизонского; но на необыкновенно сильной девственной и всегда в меру влажной черноземной почве острова они достигли в эти годы и замеча-

тельного роста, и замечательного развития и смотрят не двадцатилетними, а чуть не вековыми деревьями. Они так густы и так плотно жмутся друг к другу, что совершенно скрывают от всех посторонних глаз жилище кривоносого Робинзона. Одной лишь черною осенью, когда ветер оборвет и разметет по бакше древесные листья, да еще самую раннюю весною, пока не распустилася красная почка, только и можно было видеть кровли и загороди нагроможденных Пизонским хибарок; но во все остальное время года скромные постройки его были незримы: деревья всегда ревниво закрывали их: летом изумрудною листвою, а зимой серебряной бахромой лежавшего на них инея. Постройки, возведенные здесь руками Пизонского, были довольно просты, но не лишены некоторой оригинальности. Здесь мы, во-первых, видим очень небольшую мазаную хатку на манер малороссийской. Пизонский соорудил ее из остатков деревянной часовни, стоявшей на берегу до построения здесь нынешней каменной часовни. Рядом с этой почти вросшей в землю избушкой в самой земле ископана просторная землянка, крытая зеленым дерном и имеющая прямое подземное сообщение с избеными сенями. Потом несколько в стороне стоит огромный соломенный шалаш с открытыми с обеих сторон входами. Еще далее довольно ветхий поднавес, под которым помещается зеленая поповская тележка, и, наконец, крошечная закуточка, тщательно ослоненная пучьями сухого речного тростника. Кроме этих построек, здесь видны еще две собачьи ко-

нуры, примкнутые к самой загороди, да посередине дворика, образуемого всеми этими постройками, торчит небольшой кирпичный очажок, наподобие тех жертвенников, которые встречаются на рисунках в иллюстрированных лютеранских библиях, в картине, изображающей принесение Ноем благодарственной жертвы Богу на земле, освободившейся от потопа. Назначение этого библейского очажка могло бы служить загадкой, если бы здесь было место для такой загадки; но жертвенник этот Пизонский смазал себе просто потому, что он боялся разводить летом огонь в своей избушке, и в течение всего теплого времени года готовил себе свою скудную трапезу здесь. Замок Пизонского и все принадлежащие к нему строения были обнесены невысоким плетнем из орехового хвороста с ивняковой повивкой. Плетень был заплетен прямо около стволов деревьев, составляющих эту купу. Только лишь в очень редких местах понадобился где-нибудь Пизонскому нарочный колышек, но и этот колышек не умирал здесь на своем посту, а пускал немедленно в землю росток, отпрыскивал вверху молодым побегом, зеленел и спешил равняться с своими соседями. Безветвенными всего-навсего в одном месте стояли два облупленные белые столбика, но и это были верей, на которых висели легонькие дощатые ворота. Здесь-то выросли у Пизонского обе его племянницы, из которых вышла ныне одна богатая, тоскующая женщина, другая красивая, бедная девушка, встретившая уже свою двадцать вторую весну. Но и нынче Константин Ионыч

живет здесь не один: у него, как у настоящего Робинзона, есть свои попугаи и свой своеобразный Пятница. Отыскивая признаки присутствия здесь этих сожителей Пизонского, мы прежде всего предполагаем, что здесь есть собаки и что они живут в некотором удовольствии. Это предположение рождается при виде двух просторных конур, прилаженных у загорожи и солидно укутанных соломой; отчего зимой в них, должно быть, достаточно тепло, а летом довольно прохладно. В одной из этих конур живет престарелый каштановый пес, почитавшийся собакою «турецкой породы» и называвшийся Кинжалом, а в другой белая самка, убудковатый пудель Венерка. Обе эти собаки имеют свои истории, свои характеристики и притом свои большие достоинства: они умны, сторожки и послушны, и за то, в противность отечественному обычаю, жили у Пизонского в таком довольстве и добре, что их собачья жизнь вовсе не могла служить образцом настоящей собачьей жизни: обе были приючены, накормлены и, если бы нуждались в платье и в обуви, то они, наверное, были бы и обуты, и одеты; но они, говоря по истине, в этом до сих пор положительно не нуждались и вполне довольствовались своими природными шубами. Отдельного помещения у Пизонского не имели только два серые кота, или «котбшки», но и то опять потому, что они были в некотором роде номады, не нуждались в отдельном помещении и спали там, где им казалось теплее: зимой на жаркой печке, а летом перед солнышком на завалинке. Кроме

двух собак и коташек, с нашим Робинзоном на его острове жили несколько кур с красными ногавками на цибастых ножках, старая очень толстая желтая лошадь, называвшаяся «Мальчиком», и восьмилетний мальчик, называвшийся Малвошкой. Вот это-то и был Пятница нашего Робинзона, хотя между им и Пятницей была та разница, что Малвошка не был слугою Пизонского, а был его тираном. Происхождение Малвошки самое романическое. Фамилии у него нет ни одной, но кличек две, и обе они хороши тем именно, что даны по шерсти. Мальчик Малвошка называется от добрых людей иногда Малвошкой Шибаетенком, иногда Малвошкой Семибатешным. Прозвание Шибаетенок дано ему, Малвошке, за его всегдашнюю резвость и юркость, а Семибатешным он называем в насмешку, за его происхождение. Этот ребенок родился от полоумной солдатки Матрешки Курносой, которая жила вполнину поденщиной, вполнину мирским подаванием. Мать этого сына тайны была даже не полоумная, а просто дура: она не имела понятий ни о стыде, ни о женской скромности; проводила где день, где ночь, не делая почти никакой разницы между местами и лицами, дававшими ей кратковременные приюты. Отсюда всякому должно быть понятно, почему беспощадно меткий язык народа назвал рожденного полоумной Матрешкой мальчика «Семибатешным сынком». Родила этого ребенка Матрешка в картофелях, половши летом бакшу у Пизонского; и где родила его, там же его и кинула. Ребенка этого через несколько же минут после



его рождения могла съесть первая пробравшаяся свинья, в которых в Старом Городе не было никакого недостатка, если бы его не спас от такой короткой карьеры Кинжалка. Он прежде всех бывших на бакше людей почуял неожиданного гостя и засуетился. Он тревожно лаял, бросался от Пизонского в картофели и из картофелей опять к Пизонскому и, наконец, достиг того, что обратил на себя особое внимание.

– Одурела собака, – говорили, глядя на Кинжалку, польщицы.

– Больше ничего, как это она с жару.

– Либо с жиру, потому, – что он ведь у Константина Ионыча кормленный, – поясняли бабы, содержащие отеческое предание, что пес должен быть голоден.

– А я вам скажу, что это он не что больше, как нашел где-нибудь ежа, – проговорил Константин Ионыч и решил пойти за Кинжалкой к картофелям.

Собака с радости не знала, что и делать: она взмахнула ушами, вильнула хвостом, прыгнула вправо, прыгнула влево и наконец понеслась. За нею тихим, медленным шагом шел Робинзон, с тяжелыми навозными вилами на плече. Собака неслась, неслась, разметывая свои мягкие уши, и наконец вдруг стала, визгнула и, оглядываясь на Пизонского, фыркала, морща нос и дергая одною ноздрей.

– Куси, куси, Кинжалка, куси, – говорил, подходя с улыбкой, Пизонский, ожидая потехи, как пес уколёт свою преданную морду о ежовые иглы.

Но не ежик лежал перед Пизонским в густой ботве картофеля, а неповитый мальчик, облизанный Кинжалкиной мордою. Под ребенком был лохмот старенького платка – единственное достояние, которым могла с ним поделиться его истекавшая на меже кровью мать.

Пизонский, недолго думая, взял ребенка; сомлевшую мать взяли бабы и повели ее в баню к купчихе Загогулиной; но Матрешка дорогою выпросилась искупаться на портомойной пристани, искупалась, заколотилась в лихорадке и через два дня умерла от жестокого, неизлечимого воспаления. «Семибатешный сынок» остался на руках Пизонского.

– Отдай его всего лучше, Константин Ионыч, в богадельню старухам, – говорили люди Пизонскому.

– На что, девушки, – отвечал он. – Я сама воздую его; сама, сама у себя воздую.

– Отца с матерью Господь возьмет, деткам пошлет пристателя, – заговорили Пизонскому.

– Милые! это он ведь еще своего Бога не знает, но Бог уж и теперь его любит, – отвечал Пизонский, и усыновление «семибатешного сына» было решено. Константин Ионыч отнес мальчика к отцу Захарию, отец Захарий окрестил дитя и назвал его Малхом – отсюда полуласкательное, полууничижительное Малвошка.

Ребенок жил и рос; и слова Пизонского оправдывались на нем: дитя не знало Бога, но Бог любил его. Ничто злое с ним не приключалось в продолжение целых восьми лет, которые

Малвошка сполна прожил до дня, в который мы его встречаем. «Воздоённый» Пизонским, он решительно не знал никакого особого ухода и не знал и болезней: вольный, как ветерок, и свеженький, как наливное румяное яблочко, рос он со второго же года исключительно на огородных межах. Еще не становясь на ноги, он заползал на четвереньках в самые отдаленные углы огромной бакши; спускался по скользкому илу к самой воде глубокой речки; засыпал в траве под черемухой, где всегда вертелись безвредные ужи, но где зато не один раз было убито и несколько гадюк, и не утянула к себе Малвошку синяя глубина вод, не положило кровавой ранки на его чистое тело ядовитое жало пресмыкающейся гадины.

Покинут в пустыне младенец бродил,  
Но гений-хранитель незримо с ним был,

говорил, поглаживая по головке ребенка, Пизонский.

Гений-хранитель Малвошки, на все дни раннего детства ребенка, воплотился для него в лохматую фигуру Кинжалки. Лохматый пес, отыскав этого ребенка в картофелях, счел своею обязанностью не отходить от него и на целую жизнь. Пока мальчик был на рожке и проживал в лубочной коробке, Кинжалка все вертелся около этой коробки и по целым часам сидел над нею, насторожив уши и не сводя своих изумленных глаз с прихотливых движений дитяти. Он водил головою по направлениям, в которых дитя расправляло свои ножки

и ручки. Забавлял его своим лаем и смешил трясущимися длинными ушами. Высадил, наконец, Пизонский Малвошку из коробки. Это было назад тому семь лет, в очень погожее утро весною. Бакша только что была вспахана и поделена на гряды. Солнышко тепло грело разнеженную, рыхлую землю, большие черные птицы с криком ходили в развал по мягкому бархату пашни и доставали толстыми клювами сытых червей; босоногие бабы с загорелыми икрами и высоко подоткнутыми разноцветными юбками держали в руках расписные деревянные чашечки с семенами и с веселыми песнями садили на грядах всякую всячину. Сам Пизонский босиком, в коротких, поднятых за колено холщовых штанишках и нанковой куртке со множеством тесных завязок вместо пуговиц стоял на утлой лесенке, приставленной к довольно высокому рассаднику, утвержденному на четырех липовых столбиках. Пизонский был с непокрытою головой и держал в левой руке большую деревянную чашу, полную мокрых семян капустной рассады. В эту чашу он время от времени опускал три перста своей правой руки, брал ими жменьку зерен и погружал их в землю. От ямочек, что образовали углублявшиеся в просеянную землю пальцы Пизонского, вырисовывался крест, и погружение каждого из этих зернышек сопровождалось тихим словом, которое благоговейно шептали синие губы старгородского Робинзона. Все слова эти, падавшие в землю вместе с зерном будущего овоща, в общем сочетании выражали своеобразную молитву. Пизонский говорил гром-

ко: «Благослови... Господи... на всякое... время... на всякую... долю... на хотящего... на просящего... на проходящего... на произволящего... на всякую... душу... живую... аминь...».

На него смотрели собравшиеся вокруг рассадника куры и утки, и красный золотошейкий петух, и звонкие воробьи, сидевшие на рябинах, и все они, прослушав эту молитву, разом запели на своих языках: аллилуйя.

Красный петух был регентом этого хора. Эта должность принадлежала ему по всем правам, потому что в его крыльях, как верит народ, есть одно перо из крыла ангела. Это перо дает ему способность слышать с земли ангельские хоры, и он знает, когда нужно начинать вторить их кликам. Он не упустил данного ему с неба сигнала. Чуть только *аминь* закончил молитву, петух, необыкновенно высоко вытянув свою золотистую шею, так сильно и звучно поднял общую песнь, что высокие ноты его голоса отозвались жертвой хваления в детской душе сидевшего на земле младенца. Духовное око дитяти увидело, что все окружающее его «добро зело», что все это стоит песни, любви и живого участия, впервые почуянной силой вздрогнули его детские мышцы, и он вскрикнул всей грудью, как будто от сладостной боли; ручонками всплеснул и смело пополз по меже, далеко, далеко, гоняясь за черною птицей, свежим червем подкреплявшей зимой отощавшее тело.

Кинжалка тихо поднялся и тоже пошел за ползущим ре-

бенком: матери нежность и мудрость Улиса смотрела из глаз лохматого пса на дитя.

С этой поры дитя и собака были неразлучны целые годы; но зато с этой же поры, как Кинжалка совсем определил себя в детские няньки, в его прямых собачьих обязанностях начались очень сильные упущения. Пизонский, некогда совершенно спокойный за этим псом, теперь уже сам беспрестанно сгонял то гусей, то уток, то свиней, которые вплавь достигали бакши и производили на ней самые варварские опустошения.

Но неумоготу было старому Пизонскому гоняться по всему пространству острова за нападавшими на него птицами и зверями. И была Константину Ионычу тогда послана другая собачка вместо Кинжалки. В тот самый день, когда Робинзон наипаче измучился, бегая один за врагами своей бакши, и едва дыша сидел под мостом, покрикивая на плавающих у самых берегов гусей, по мосту в большом безобразном фургоне проехали комедианты. Достигнув половины моста, один из комедиантов выскочил из фургона и, подойдя к перилам, бросил через них на остров бедную собачонку из породы пуделей, всю покрытую сыпью. Собачка упала как раз к самым ногам Пизонского и жалобно завизжала.

– Цуца! цуца! не плачь, малая цуца! – проговорил Пизонский.

Он взял разбившегося подкидыша и начал кормить его се-рою с маслом. Молодая собачонка незаметно поднялась на

ноги. Эта новая собачка была названа Венеркой. Имя это было ей дано по совету городничего, Порохонцева, которому Венерка была обязана не одним этим именем, но и указанием средства к ее излечению. У Венерки не было ни рассудительности Кинжалки, ни его сил, но зато у нее была в теле ртуть, не дававшая ей ни одной минуты покоя и заставлявшая ее беспрестанно скакать через гряды и пугать звонким лаем всех незваных гостей, приплывавших из города портить бакшу Пизонского. Дело опять пошло стройным порядком: Венерка стерегла бакшу, Кинжалка стерег мальчика. Старая собака и ребенок вместе кочевали целый день на бакше; вместе они спали, утомясь, под тенью черемухи; вместе ели из одной чашки молоко с крошенным туда хлебом; и иногда Кинжалка обижал ребенка, поедая большую часть его завтрака, а еще чаще мальчик обижал собаку, беспощадно теребя ее за уши, колотя деревянной ложкой по лбу и даже кусая, в детской запальчивости, за его добрую морду. Но эти счеты нимало не портили их дружбы, и Кинжалка, тщательно наблюдавший, как крошечный Малвошка передвигался ползком с межи на межу, не отставал от него и тогда, когда дитя поднялось и стало на свои резвые ножки. К концу лета мальчик был уже так подвижен, что престарелой собаке стало не под силу за ним гоняться; пробежал еще год, и дитя эгоистически изменило своему старому пестуну и другу. Ему было скучно с тихим Кинжалкой, и он стал резвиться с Венеркой. Отсюда опять возник на бакше неко-

торый беспорядок, которому Пизонский старался, сколько мог, противодействовать, но не мог этого достичь. На острове явилась первая оппозиция. Эту оппозицию составляли Малвошка и Венерка. Отличаясь самою нигилистическою фривольностью и легкомыслием, они решительно не уважали ни мирных заслуг Кинжалки, ни авторитета самого Пизонского и заботились только о том, чтобы им хорошо было. Их дружными усилиями шум, беготня, прыганье и веселый отрывистый лай, но лай вовсе не угрожающего, а чревобесного свойства, и потом покрывающий все это залихватый детский хохот не прекращались на бакше ни на одну минуту.

Пизонский, потеряв всякую надежду хотя мало-мальски обуздать неуправляемую резвость молодого поколения, уступил ему. Махнув рукою на Венерку, он снова стал обходить свою бакшу с стариком Кинжалкой; но сносил это не спокойно и даже с некоторою старческою ворчливостью. Годы брали свое.

Старевший Пизонский, не изменив своей доброте, изменял своему спокойному отношению ко всем неладицам жизни. В то время, как Кинжалка уже решительно не заявляла ни малейшей претензии на странное поведение своих легкомысленных друзей и смиренно бродил, глядя на все старческими глазами, его хозяин находил невозможным не вести хотя некоторой борьбы с оппозицией. Пизонский делал это не из властолюбия, но он просто не мог удержаться от вмешательства, потому что усматривал в поведении восстав-



ших против его авторитета такие наклонности, которые могли, по его соображениям, иметь вредное влияние для самой оппозиции. Так, например, он уж не стеснял Венерку в ее неустанных резвостях, но он положительно не мог одобрять ее поведения по отношению к Кинжалке, да и странно было бы требовать, чтобы он мог их одобрить. Венерка не только пренебрегала всеми, хотя, впрочем, довольно слабыми и редкими искательствами этого заслуженного пса, но даже в его же собственных глазах, не уважая ни его гражданских заслуг, ни его всегдашней скромности, до непозволительности интимно сближалась с Крокодилом, куцым и корноухим бульдогом инвалидного начальника, тогда как этот Крокодил, на взгляд Пизонского, был собака самого гнусного вида и столь презренного характера, что в целом городе об ней никто не мог сказать ни одного доброго слова. Этот Крокодил, не успев прибыть в Старый Город, как на первых же днях аттестовал себя самым странным образом. Благодаря военному званию своего господина и своей необыкновенной пестрой шерсти и кличке, «Крокодил» был принят легковверными людьми за настоящего крокодила и, пользуясь возникшей по поводу столь грозных слухов всеобщей паникой, предался самой беспорядочной жизни. Тут он самым наглým образом, публично, таскал мясо со столиков в мясных лавках; он взбирался на крышу дома и лаял оттуда на самых почтенных лиц города, и, наконец, он один раз чуть не вскочил со своим хозяином в церковь. Но тут старогородцы не замедлили

принять свои меры. Вся прежняя репутация Крокодила не спасла его от стоявших наготове метел, кочерг и палок, мимо которых ему лежал путь от собора к квартире, и с этих пор вообще нахальство Крокодила было сильно ограничено. Крокодил был в полном презрении; в целом городе никто на полдвора не пускал его к себе; но он нашел приют на бакше, куда след ему показала Венерка, не разделявшая плохого мнения о Крокодиле.

Пизонский перенес и это; он перестал вступаться и во вкусы Венерки; но он не мог перенести с ее стороны новой выходки, которою она начинала приобретать авторитет над его подраставшим сиротою. Пизонский давно знал, что Венерка большая фокусница. Это было замечено еще тотчас после того, как проезжие комедианты сбросили ее под мост. Еще тогда же взглянувший на нее мимоходом дьякон Ахилла сказал ей: «засмейся, собачка», и она, несмотря на болезнь, скривила морду, задергала носом и засмеялась, а позже Пизонский успел заметить в ней следы и многих других знаний, неученым собакам несвойственных. Но все эти штуки она давно успела перезабыть, сохранив лишь одну способность смеяться. Удержанием в памяти этого фокуса она была обязана самому же Пизонскому, которому очень нравилось, как собака морщила нос, скалила зубы и, *soit dit*,<sup>5</sup> смеялась, и в своем уединении он часто забавлялся этою штукою.

– Посмейся, Венерушка! – заставлял он собачку, сидя

---

<sup>5</sup> Так сказать (*франц.*).

зимним вечером в своей тесной хибарочке, заваленной семенами, высадками, скребочками и всякой рухлядью, – и Венерка смеялась.

Пизонский посидит еще, еще зашьет какую-нибудь прореху и опять скажет: «засмейся, Венерка!»

Венерка и опять посмеется. Становится не так жутко: кто-то будто есть живой, кто-то будто сочувствует скромному кривоносому старику, и старик начинает шалить.

– Ну, смейся же! смейся еще! Смейся на мой нос, Венерка, – пристаёт он к собаке, держа ее за передние лапки. И собачонка опять смеялась, и вместе с нею смеялся одинокий старик; а в это время на лавочке у печки тихо дышал сладко спящий ребенок; у порога, свернувшись кольцом, сопел и изредка бредил Кинжалка; в стены постукивал мороз; тихая ночь стояла над всем городом, когда проходивший по мосту старогорожанин думал, как скучно должно быть бедному старику в его одинокой хибарке, расшалившийся старик смеялся и резвился с своей Венеркой и, наконец, прочитав на ночь молитву, засыпал со сложенными на груди руками.

Никогда ни одного раза Пизонский не мог вообразить себе, чтобы эта венеркина способность, которая в длинные осенние вечера приносила ему столько невинного удовольствия, со временем сделалась на острове источником больших междоусобий, но это, однако, случилось. Первые признаки этого междоусобия обнаружилились тем, что в один прекрасный день Малвошка ни за что не позволял Константину

Ионычу переменить на себе рубашку. Как тот его ни урезонивал, как ни упрашивал, наконец, даже как ни угрожал – мальчик стал на своем, что он ни за что не снимет рубашки, пока его не оставят одного. Константин Ионыч впал в крайнее недоумение: ему мерещилось, что мальчик искусан, изуродован; что у него недобрые сыпи, чесотка и Бог знает что. Он взял и насильно обнажил своего питомца – ребенок был совершенно здоров, но кричал благим матом, как будто его перерезывали тупою пилою, и после этого насилия дня три ходил грустный, переконфуженный и как опущенный в воду.

– Чего ты, ангел, скучаешь? Играй, дитя мой, играй иди, – говорил, лаская ребенка, Пизонский.

Дитя супилось, хотя ему, очевидно, и самому страсть хотелось играть.

– Играй, детка! иди с Венеркой играй.

Мальчик заплакал.

– Чего же ты плачешь, дитя?

– Неверка теперь надо мною смеется, – шептал Малвошка.

– Чего она, крошка, смеется?

– Ты раздевал меня, а она смеялась.

– А ты зачем сам не разделся?

– Да того, что Неверка смеется. Она всегда надо мной смеется, – говорил, плачучи, мальчик, и с той поры «Неверка смеется» стало слышаться почти ежедневно. День ото дня все находилось более и более вещей, над которыми смея-

лась Венерка, и все они тотчас становились для мальчика невозможными. «Неверка» силою своей собачьей сатиры со всяким днем приобретала над ребенком такой авторитет, которому усиливаться решительно невозможно было дозволить, но которому и противодействовать Пизонский никак не умел. Ему это дело уже приходило не в шутку, и он однажды даже собрал по этому случаю к себе на остров конклав, состоявший из «братца», городничего и Милочки; но конклав этот, выслушав затруднения ребенка, мог придумать только одно: он положил рекомендовать сироте Малвошке, чтобы он не смотрел Венерке в глаза и дал слово от нее отворачиваться. После больших колебаний, такое слово наконец было исторгнуто у Малвошки. Робинзон пообещался не обращать внимания на неверкины насмешки, и действительно в течение очень долгого времени отворачивался от нее, чуть только замечал с ее стороны малейшее желание скривить свою морду.

Таким образом на острове опять водворилась тишина, и Константин Пизонский, обрадованный давно небывалым стройным ходом дел, в самом приятном расположении, распочал сооружать Малвошке некую одежду из старой тальмы, подаренной ему старшей племянницей, но тут-то и стояла новая ковычка. Тальма, из которой Пизонский сел сочинять обнову своему питомцу, так прельщала его своею обширностью, что он ни за что на свете не хотел «сокращать ее».

– Я тебе, дѣта, лучше не краткую одежду сделаю, а сошью

плащаницу, самую полную, как барчуки носят, – говорил он Малвошке, прикраивая на полу какие-то клинья. И точно, Пизонский сделал плащаницу, которую Малвошка и должен был непременно обновить 10-го июня, на день святого Тимофея, епископа прусского. Дошивая эту плащаницу, Пизонский уже мечтал, как он завтрашний день утром оденется сам в синю-серую длиннополую хламиду, а мальчик в свой очень многосложный наряд, поверх которого накинется на него эта плащаница, и они, взявшись за руки, пойдут поздравлять со днем ангела почтмейстера Тимофея Прокофьяча.

Константин Ионыч всегда почитал своею неперемною обязанностию поздравлять всех и каждого из знающих лиц в городе со всеми днями их тезоименитств и рождений. Прежде он таскал за собою на эти поздравления Милочку и Глашу, для которых это хождение впоследствии послужило целым источником унижений; а нынче он таскает за собою Малвошку, для которого Бог весть источником чего будут эти искательства. При малолетстве Глаши и Милочки эти поздравления производились с несравненно большею торжественностью: Глашу и Милочку он, во время оно, заставлял выучивать небольшие стихи, и девочки, выступая перед пестуном своим, читали благодетелям разные торжественные оды и сонеты; но книжка, из которой почерпались эти вирши, истлела от времени и слез, пролитых на нее двумя девочками, а Ахилла-дьякон хоть и взялся выучить Малвошку к рождеству хорошим стихам и даже держал его у себя для

этого целые сутки, но, как известно из книги отца Савелия, выучил ребенка таким стихам, что благодаря им Пизонский мог потерять всякое доброе о себе мнение и прослыть самым грубым насмешником. Известно, что наученный Ахиллою мальчик Малвошка хватил нараспев:

Днесь Христос родился,  
А Ирод царь взбесился:  
Я вас поздравляю  
И вам того ж желаю.

Известно также, что голова из этих стихов ничего не понял и еще дал за них Малвошке рубль на счастье; но Пизонский уже с той поры никаким новым стихам ребенка не учил, и ныне, окончив плащницу, сел перед дверьми своей хибары, вытащил из чулана небольшой деревянный сундучок и начал раскладывать на травке весь гардероб ребенка.

Обыкновенный гардероб Малвошки состоял летом из холщовых порт и сорочки, а зимою к этому прибавлялись валенки и полушубок; но парадный его гардероб был довольно сложный; его составляли: 1) выростковые ботинки с гарнитуровыми завязочками на подъеме; 2) чулки, смотря по сезону, шерстяные или бумажные; 3) синие суконные панталонцы с узеньким серебряным позументом по лампасу; 4) восточный бешмет, сшитый из старого кашемирового платка; 5) круглая ермолка с самым широким белым позументом вместо околыша и круглая кожаная ледунка с носовым плат-

ком. Теперь ко всему этому еще присоединялась широкая синяя «плащица».

Пизонский раскладывал все это с чувством, весьма близким к некоторому блаженству: все это было в его глазах так хорошо, так богато и нарядно, что он не мог не радоваться. И тихий вечер нес спокойствие в детскую душу старца, и длинные тени насажденных его рукою деревьев обнимали и ласкали его, и все ему казалось счастливым, и все как будто с ним ликовало и радовалось.

В это-то время, в узком ярком просвете между двух длинных теней, брошенных пирамидальными тополями, явился весь облитый лучом заходящего солнца мальчик Малвошка и с ним его спутница, беленькая Венерка. Они стояли оба рядом и весело смотрели на Константина Ионыча.

– Дета моя! дета! иди ко мне, маленький! – позвал Пизонский Малвошку.

Ребенок еще улыбнулся и доверчиво бросился в объятия к своему пестуну; Венерка же сделала пируэт, прилегла к земле, потом опять снова вспрыгнула и скрылась за кустами.

– Вот, кроха моя, теперь удивись, какую я прелестную плащицу тебе сделал! – воскликнул Пизонский, поднимая перед дитятею сочиненный им широкий плащ. – Чудесно?

– Чудесно, дядя, чудесно! – отвечал ребенок.

– Надевай, будем мерить.

Дитя село на земле и натянуло на себя сапожки. Потом, одна под другой, были надеты на него прочие вещи его



высокоторжественного гардероба, и дело дошло до плащаницы. Фигура мальчика, окутанная бесконечно широким плащом, становилась прекурьюзною: он был похож на одного из тех разбойничьих атаманов, которых рисующие дети любят изображать на своих картинках.

– Вот ты теперь мальчик красивый! – сказал, любуясь ребенком, Пизонский. – Теперь мы с тобой завтра пойдем по городу барина поздравлять, и все на тебя смотреть будут.

Дитя засмеялось.

– Все будут говорить: чей это такой прекрасный мальчик? – продолжал рассказывать Пизонский.

– А я что им скажу, дядя? – спрашивал, засмеясь, ребенок.

– А ты скажешь: божий мальчик, божий гостек, божий.

– А Неверка... дядя...

– Ну что тебе, дядя, Неверка! Собака Неверка... и еще прегадкая собака...

– Она, дядя, не будет смеяться?

И с этим вопросом ребенок стал жаться к Пизонскому и водить вокруг смущенными глазками.

– Не будет, крошка, не будет. Как она смеет смеяться. Мы возьмем с тобой хворостинку, да зададим ей такой смех, что она у нас...

Мальчик, слушая это утешение, начал улыбаться, воображая, как дядя прогонит насмешливую Неверку, и в то же время все ближе и ближе прижимался под крыло к Пизонскому.

– Высекишь ее, дядя?

– Высеку, агнец, так больно, больно высеку...

– Дядя!..

– Что, голубчик?

– А если она и после будет опять смеяться... Дядя! дядя! – заговорил ребенок, начиная дрожать и озираться. – Дядя, она... засмеется... Ай! вон, вон она! она смеется, смеется!

Дитя, одним движением рук, сбросило с себя свой эффектный плащ и, дрожа, указывало обеими ручонками на темный куст, из-под которого высовывалась курчавая белая морда Венерки с складками на губах, которые обыкновенно выражали ее улыбки.

Пизонский вспыхнул. Отодвинув от себя ребенка и схватив первый попавшийся прут, он бросился за собакой.

Жаркая погоня за Венеркой увела Пизонского на добрые пять минут от его кущи; а в это время его питомец торопливо сорвал с себя всю свою ливрею и в самом возбужденном состоянии бросился к берегу, словно заяц, преследуемый раскрытою лапой сильного филина.

Заметив бегущего ребенка, Пизонский переменял свое направление и, покинув погоню за Венеркой, бросился к своему питомцу; но тот, увидав, что его преследуют, пустился еще шибче и, достигнув берега, со всего разбега бросился в реку.

Пизонский остолбенел: река была глубока, и ребенок очень легко мог утонуть в ней; а на берегу, да и во всем го-

роде уже не было видно ни одной души.

Минута была отчаянная. Но выросший в близкой дружбе с природой, мальчик оказался гораздо сильнее, чем предполагал его пестун. Упав в воду, он торопливо заработал ручонками и поплыл к противоположному берегу. Пенистые брызги били вокруг его во все стороны целыми фонтанами и совсем скрывали его маленькое тельце от глаз Константина Ионыча.

Не размышляя ни одной минуты, Пизонский бросился в воду во всем своем одеянии, но, услышав внезапный взвизг ребенка, остановился по пояс в воде. Ему представилось: а что, если дитя перепугается, если испуг сожмет судорогами его мышцы и он пойдет ко дну?

Пизонский закрыл руками глаза и наклонился головою к воде.

В великом страхе он только прислушивался к плеску воды, и когда плеск этот затих, он принял руки от глаз и, восклонив голову, увидел, что дитя благополучно переплыло на ту сторону и уже цепляется ручонками за скользкий глинистый берег.

Этой минутой Пизонский не медлил: он быстро рванулся вперед и поплыл вдогонку за беглым питомцем. Но старые члены дяди Котина работали плохо, и прежде, чем он проплыл половину реки, питомец его уже выбрался на берег и в мокром бельешке понесся во всю прыть вкруть по Крестовой тропе. Константин Ионыч хотел кричать, хотел удержать

дителя ласковым кликом, но в тот самый момент, как он, плывучи, раскрыл свои дрожащие губы, их заткнула какая-то белая, мокрая тряпка.

Это была Венерка, которая оплыла хозяина мимо самого его носа и, легко выскочив на берег, в десять прыжков догнала своего фаворита.

Когда Робинзон с большими усилиями выбрался кое-как на берег, ни ребенка, ни собаки не было уже и следа.

Весь мокрый, взволнованный, старик еле плелся по тому направлению, по которому так быстро умчалась беглая пара. Пот покрывал и без того мокрое лицо его; рубашка его дымилась. Не помня себя, он обежал весь город; заходил всюду, где только мог предполагать укрывшимся своего сиротку; спрашивал его во всех домах, где было хотя малейшее основание ожидать его встретить, и все это было тщетно. Ни мальчика, ни собаки никто не видал и в глаза.

Унылый и расстроенный, Константин Ионыч, возвращаясь домой, встретил только одного человека: это был отец Туберозов. С ним Котин разговорился и рассказал ему свое горе.

Протоиерей слушал рассказ Пизонского молча, положив подбородок на набалдашник своей трости – как мы в свое время узнаем, исторической трости, – и когда Константин Ионыч окончил свой трагикомический рассказ, отец Савелий вздохнул и сказал: век наш ветхий выдает нас с тобой, старина, в поношение неверкам. Пойдем и уснем – авось

утро будет еще мудреней вечера. Пойдем: луна на небо всходит, а небо хмуриться начало. Пойдем.

Они сошли вместе к реке и у моста расстались.

## **XXI. Далекие сосны своему бору шумят**

Расставшись с отцом Туберозовым, Константин Ионыч должен был снова перебраться на свой остров вплавь, потому что его маленькая лодочка была привязана у кольев по другую сторону бакши. Он так и сделал.

Сперва переплыв реку и выйдя на остров, он прямо прошел к своей куще; заглянул под все сарайчики; обшарил все углы в шалаше и в хибарке: нигде не было и знака следа беглых, которые, по соображению Пизонского, могли возвратиться сюда во время его Поисков в городе. Он влез на верх шалаша, где была раскинута широкая белая кошма, на которой лежали три небольшие подушки в темных ситцевых наволоках. Малвошки и здесь не было. Два находившиеся здесь изголовья были совершенно пусты, но на третьем помещалась голова взрослого человека, тщательно закутанная старым ватным халатом.

Это был муж Глафиры, Митрофан Маслюхин.

– Пуша! – проговорил, наклонившись к нему, Пизонский.

Маслюхин еще не спал и, повернув лицо к заречью, глядел на гаснувшие один за другим огоньки в зареченских окнах..

– Ты, дитя, не видел Малвошки?

– Нет, не видал, – отвечал Маслюхин.

– Боже мой милый! Боже мой милый! – прошептал Пизонский и, заглянув через голову в глаза Маслюхина, спросил: – Чего же ты, младенец, не спишь?

Маслюхин потянулся, опрокинулся лицом в подушку и тихо уронил:

– Я глядел за реку.

– Чего?

– Там... огонь у нас дома... свечечка в Глашиной спальне горела...

Пизонский приподнял обеими руками голову племянницына мужа. Маслюхин не сопротивлялся, но только крепко сжал закрытые веки. Из-под одного из них выбежала крупная слеза, сверкнула живым серебром по щеке и пала на спартанское ложе, а другая выкатилась тихо из другого глаза и остановилась на дрожащей реснице.

Выплывшая в эту минуту из разорванного облака луна на мгновение осветила эти слезы и снова скрылась за черной завесой. Ночь грозила ненастьем.

Константину Ионычу было не до сна и не до покоя. Где теперь его мальчик? Где будет крыться бедное дитя, если к полуночи хлынет студёный ливень, разразится гроза и заблещут змеями трескучие молоньи? Может быть, он где-нибудь там на горе притаился, как кролик, за камнем и спит, обнявшись с собачкой. Хорошо, если Бог, который берег его, когда он ничего не знал о Боге, сбережет его и ныне, когда детские

уста ребенка уже научились лепетать его имя. А может быть, теперь, бедняжка, в страхе сидит, прикорнувши в канавке, и плачет, и плач его волк из оврага услышит... О, Боже мой! Боже! Дитя мое! где ты? где ты теперь, мой ребенок?

Пизонский шибко шел по своей роскошной бакше, спотыкался на гряды, путался в овощах и, ломая руки, звал без отзова ребенка.

А ночь становилась все темней и темней: мелкие тучи бродили, как овцы, и, сдвигаясь плотною массой, все тесней и тесней укутывали небо. Дождя не пало до сих пор ни капли, но вдали за горою, за черною массой пустого деевского дома, скользила сухая зарница и порой где-то далеко гудели раскаты сердитого грома.

Пизонский подошел к тому месту, откуда несколько времени тому назад спрыгнул в реку ребенок, и сел на бережку, обхвативши руками колени.

Он ждал, что ребенок встоскуется, вспомнит о теплой кошме, о подушках под липой и придет; но он ждал напрасно. Проходили часы, час за часом, и усталые глаза старика ничего не открывали ни на реке, ни на темных обрывах берега, с которых он старался ни на одно короткое мгновенье не сводить своего взора. Пизонский теперь уже не замечал погоды, которая разыгрывалась очень неспешно. Он не замечал, как стучившееся небо закапало тихим дождем; не слышал, как этот дождь защелкал крупными каплями по широким листам лопуха; не видал, как закивали во тьме своими

вершинами липы черноземного острова и начали кланяться высоким соснам песчаного берега. Его тихой душе было несносно то состояние смятенья, которое вносилось в нее с некоторых пор неспособностью понять, что такое около его творится. Незлобивый дух старика не склонен был обвинять в чем бы то ни было хотя бы одну преступную душу – он только лишь трепетал, видя нелады и недовольство. Видя распри и несогласие людские, Пизонский искал их причины не в характерах и в нравах людей, а в мелких случайностях. Соболезнуя об этих случайностях, он ждал только, чтобы они как можно скорее минули, и непременно верил, что они минут. Несогласия Глаши были для Пизонского самыми сильными страданиями. Это было лицо, которое он любил с самого его детства; он сам возлелеял и выкормил эту женщину, чуть не как пеликан, растерзывая для нее грудь свою... И она несчастна! чем? чем? Чем она несчастна? Все случилось по ее воле и по ее хотению, а разве можно быть несчастным, когда все становится по воле нашей? Разве он не был счастлив превыше всех на земле сущих, когда достигал хоть одной из своих скромных целей? Бедняк не умел и представить себе разницы между прямою простотою его целей и запутанною неясностью людских стремлений. Забота о хлебе и потребность любить бескорыстной любовью беззащитное детство руководили всей его жизнью, и он не умел представить себе ни иных забот, ни иных потребностей. Зачем это Глаша томится? о чем она плачет? Отчего они оба несчастливы с му-



жем? Отчего не сидит она так над своими детьми, как сидел он лет двадцать назад такую же ночью над Милой и Глашей и грел их своею старческой грудью? Все это непонятно Пизонскому; все это смущает его ум и гнетет его душу. Неужто всем им труднее его поладить со своею судьбою?

– Нет, нет, не пойму, не пойму я, – лепечет старик, кивая своею головою.

– Неужто им божии ветры иначе шумели? Неужто не то им светилося в весенних погожих закатах?

– Что им мешает? – думал Пизонский и ни до чего не додумывался. Ему и невозможно было до этого додуматься, потому что для него жизнь была просто труд и забота, а от людей он никогда ничего не ждал и не требовал. Страсти же... Пизонский не ведал страстей, и их у него не было. Он о всех был доброго мнения и всех знал в лицо и по имени, но не отличал ни одного человека по чертам его нрава и характера. Миросозерцание Пизонского было чисто субъективное: он познавал беспрестанно самого себя и ни одного раза не задумался о возможности иметь другие взгляды, другой образ мыслей и другие стремления. А теперь он чувствует, что это не так, что можно страдать среди всякого зримого счастья; что даже какая-нибудь Неверка в силах разрушить мир и спокойствие детской души... Когда он начинает размышлять об этом, он чувствует, что ничего подобного он объяснить и истолковать не может, и слагает это на свою глупость. Упорное преследование одной мысли окончатель-

но парализует его и без того бледное воображение, а одновременно с парализацией воображения у него парализуется и воля. Чем он упрямее хочет вдуматься, тем обе эти способности все сильнее тупеют и ввергают его в состояние, подобное бреду. Мозг его то начинает засыпать, то снова пробуждается вследствие моментального возбуждения, но просыпается лишь для того, чтобы запутаться еще более и уснуть снова. В этом состоянии очутился Пизонский и ныне. Он не спал и не бодрствовал: одни члены его тела еще кое-как передавали свои ощущения мозгу, другие же спали в глубоком оцепенении. Он сидел и думал о дорогих ему лицах, но он не знал, например, где эти лица и как назвать их. Глаза его по-прежнему смотрят, но видят перед собою что-то неясное, все что-то движется. Сонный ум говорит, что это ходят сосны. Они расшумелись ужасно. Ветер чуть не рвет их с разлтых корней и чуть не кладет макушками к почве. «Страшная буря; страшная ночь!» – думает Пизонский, забывая, ради кого именно она так страшна ему нынче. Впечатления его, слагаясь почти бессознательно, не обнимают ничего объективного и держатся только в самих себе. Самые полные гипнагогические галлюцинации, какие возможны в таком состоянии, не забывают Пизонского. Они обманывают прежде всего его зрение, которое видит, как в окне двадцать лет брошенного деевского дома словно метнулся мерцающий огонек; и это его не смущает, хотя ему известно, что этого никак не могло быть, но не могло быть по чему-то такому, чего он снова не

вспомнит. Ветер все серьезней и громче воюет с соснами, и меленький дождик пробирает до косточек; но Пизонский не весь чувствует душ, которому подвергается. Ему мочит одну половину лица, да левую руку, и им известно о дожде, но все прочее тело его в этих ощущениях не участвует нимало. Когда щека его мокнет, глаза видят самые занимательные вещи. Они видят, что с каждым колыханьем сосен ветер все сдвигает их с места и сует, и сует куда-то все дальше и дальше. Вот две уж из них отделились от прочих, они тронулись с мест и во тьме идут мимо Пизонского. Они идут вдоль того берега тихим, ровнехоньким шагом и шепчут. Нельзя ясно сказать себе, начинается ли это галлюцинация слуха, или, в самом деле, сосны друг с другом ведут разговоры.

– О, не смущайся, – доносит до ушей Пизонского ветер. – О, не смущайся, что мы одиноки и стоим на почве бесплодной. Кидай только семя, кидай его всюду, где можешь, и будешь плоды собирать, где сам не надеялся. Я знаю все это рыхлое племя; знаю его в его сидении и в его восстании, в его сне и в его чванной гордости. Каждый из них, как баран длиннорунный, понесет в своей коже личинку, которую всунут ему в его жирную шкуру, и насчет своей крови воспитает червя, который его же со временем станет точить. О, пускай не смущает тебя их пробуждение. Сон их проходит, но члены еще отягчены всегдашней дремотой. Не бойся, что они друг за друга станут.

Сосны все выше и выше всходили прямо Крестовой тро-

пою и, остановившись на половине ее, обернулись к сонному городу, и снова ветер донес до слуха Пизонского: «Все, что мы видим, все таково же везде по всей плоской роже этой плоской земли. Ничего, что здесь нет рельефных страстей; ничего, что это глушь, что нет повода здесь что-нибудь делать: что глупей, как бараний сычуг, а не он ли идет на закваску вкусного сыра? Нужно ли то нам, чтоб они нам служили, или нужно их обессилить, сбросить с дороги, смешать их языки? Поистине, это лишь нужно: смеси языка. Не смущайся, что они станут вопиять: горе нам! горе нам! Никто не придет помогать их горю, и они будут, как собрание...»

Галлюцинации слуха приносят Пизонскому звуки, которых значения он не понимает. «Они будут (говорят эти звуки) ждать вечно чего-то, как собрание niemocnych, sliepych, chromych i wyschlych, ktorzy czekali paroszenia wody».<sup>6</sup>

Сосны идут все выше и выше, и оттуда еще раз с самого верха слышится, как они прошумели: «Et tous attendaient, que l'eau fût remuée».<sup>7</sup>

И там наверху во мгновение ока исчезли в низко ползущей туче все эти виденья, а с ними и звуки, что от них долетали. Пизонский снова тихо дремлет и во сне опять разрешает себе, кто эти сосны? Он решает это с таким убеждением, как будто каждая сосна непременно должна быть кем-нибудь, и даже думает, что это не сосны, а просто поздно идут

---

<sup>6</sup> Больных, слепых, хромых и иссохших, ожидающих движения воды (польск.).

<sup>7</sup> И все ожидали движения воды (франц.).

отколь-то домой Август Кальярский и ксендз Збышевский.

– «Et tous attendaient, que l'eau fût remuée». Это по-французски сказано, – догадывается Пизонский и припоминает, как его учили этому языку, и припоминает, что он даже знал что-то, но что бы это такое? – А, теперь вспомнил. Это были слова: «батю бато». Но что они значили?..

– Бить палкой, бить палкой, – учит кто-то Пизонского и клонит его с этим за вихор к земле.

Опять полное забытье. Лишь одна щека Пизонского мокнет и сохраняет чувствительность – остальное тело все уснуло.

Но вот холод и дрожь мало-помалу пробегает по членам, и старик вздрагивает, открывает глаза и старается понять, что он видит перед собою.

Ночь опять темная, и опять шибко шатаются сосны, и опять две из них ведут меж собою беседу. Теперь они сходят с тропы и опять сходят тем же порядком, как и всходили. Трудно отличить: те ли же самые это сосны возвращаются, обошедши рундом город, или другие. Впотьмах все кошки серы, но не все одинаково мячат.

Пизонский дремлет и слышит в своем полуусыплении:

– Двадцать лет, – шумит тихо сходящая сосна, – двадцать лет, как я не ступала по этой земле. Много с тех пор воды убежало! Двадцать лет жгучее солнце выжигало мою голову, двадцать зим белили снегом мои волосы, а осенние дожди с ветрами смывали красоту мою, и вот я опять здесь. Вижу у

вас здесь все те же каменные дома, все те же, должно быть, живут в них и люди с сердцами железными.

– Все те же, все те же люди с сердцами железными, – другая сосна отвечает.

– Все жнут, где не сеют, хотят собирать, где не расточали.

– Жнут, где не сеют, хотят собирать, где не расточали.

Но этот говор затих, и долго слышался один шум и стелания и скрип расшатанных сосен. Но проходят минуты, и опять уж гораздо яснее слышится говор:

– Нет, все это иначе будет. Там, в далеких лесах, где была я, где мы жили тихо и Бога хвалили и откуда нас вырвали ветры, решено по-иному. Ныне нет со мной моей красоты, но есть в запасе мой разум; ныне мне сто двадцать лет – это мне написали в Николаеве. Да, мне сто двадцать лет, и меня зовут Павла... и я не даром, я не даром, не даром сюда возвращаюсь.

Пизонскому, слышавшему эти речи, взгадалась Платонида Андреевна! Он силится раскрыть глаза, силится долго, долго и, наконец, раскрывает и видит, что погода утихла, что на небе начинает сереть и перед ним за рекою, не колеблясь, стоят настоящие сосны. Они теперь не шелохнутся, но у разланных корней у одной из них что-то горит. Это чистое, как жар блестящее золото кучей лежит у корней. Такое же точно золото отдельными блестками тихо сверкает и в трещинах старой коры, и в темных навесах иглистых ветвей, и капля за каплей каплет оттуда на сыпучий песок. И везде, где чуть

упадет эта капля, там из земли выскакивают два человеческие перста, сложенные раскольничьим крестом.

При моментальном блеске этих огоньков вдруг открывается, что что-то самое странное плывет с того берега через реку. Это как будто опрокинутый черный горшок с выбитым боком. Около него ни шуму, ни брызг, но вокруг его в стороны расходятся легкие кружки. Внизу под водою точно кто-то работает невидимой гребною снастью. Еще две минуты, и Константин Ионыч ясно различил, что это совсем не горшок, а человеческое лицо, окутанное черным покровом.

В недоумении Пизонский все еще думает, что это продолжается бред. Он закрыл на минуту глаза; но когда снова открыл их, видит перед собою, уже перед самым собою видит высокую большую фигуру, с головы до ног обвитую черною тканью. Она стоит, будто приросшая к земле, и с нее тихо бежали на землю мелкие капли воды.

Пизонский оторопел, упал навзничь и, не сводя своего взгляда с фигуры, отполз от нее несколько шагов на локтях.

– Что, узнаешь ли меня, Константин Ионыч? – проговорила фигура женским голосом, напоминавшим Пизонскому голос только что говорившей сосны.

– Ты... мать Павла! – произнес, недоумевая, Пизонский.

Фигура подошла к Пизонскому, взяла его левой рукою за локоть его правой руки и, приподняв быстро на ноги, сказала:

– Веди и укрой меня, как укрывал. Ты, да еще один чело-

век будете знать, что я воротилась. Не бойся, уж нынче не будешь судим за меня, днесь они сами своих не познают.

Через пять минут эта фигура, пройдя межами большую бакшу, скрылась в низенькой хате Пизонского и оттуда скрытым ходом прошла в знакомую нам землянку, где под окном на глинистом грунте было когда-то прибито рыбьею костью голубиное перышко.

Матери Павлы стало не видно; но Константин Пизонский вышел снова на свой дворик, и лицо его на этот раз выражало большое смущение. Из-под снопов пеньки, которыми была обставлена его конюшня, к нему выползла Венерка, но он словно и не замечал ее. Он не обрадовался даже, усмотрев случайно Малвошку, который тихо спал в небольшом углублении между верхними снопами пеньки и застрехой. Он шел межами бакши потерянно, будто не ведая, куда он идет и где остановится. Его терзали недавние галлюцинации, и он против воли отыскивал в них их таинственный смысл и его сочетание с действительностью. Заспавшийся город, внезапная гостья и все, про что ночью сосны шумели, все это толпилось в его голове. Ему было тяжело; его терзала незнакомая доселе тоска. Ему жаль Старого Города; он предчувствует, что сосны предрекали какие-то беды и что бед этих отворотить невозможно.

Взошедшее солнышко застало Пизонского на ногах и заставило встрепенуться. Он взглянул за реку, и, увидев, что в окне протопопского дома сидит белый отец Туберозов, он



поклонился ему торопливо и нескладно. Но зато ему показалось, что и в поклоне отца Туберозова тоже не было ни достоинства, ни твердой уверенности, которые всегда отличали все движения протоиерея.

Так, среди общего сна и покоя, два человека, которым не спалось, встретили в Старом Городе день Тимофея, епископа прусского, день, в который бездна застоя и спокойствия, наконец, призвала другую бездну; день, с которого под старгородскими кровлями начинается новая эра.

### *Конец первой книги*

*Впервые напечатано в 1867 году.*